

КЛИНИЧЕСКИЕ  
РАССКАЗЫ

# ЭДИПОВ КОМПЛЕКС

МАМА,  
Я ЛЮБЛЮ  
ТЕБЯ

ЗИГМУНД  
ФРЕЙД

КАРЛ  
ЮНГ

ЭРИХ  
ФРОММ

МЕЛАНИ  
КЛЯЙН

Клинические рассказы

Эрих Фромм

**Эдипов комплекс.  
Мама, я люблю тебя**

«Алисторус»

УДК 53  
ББК 22.3

**Фромм Э.**

Эдипов комплекс. Мама, я люблю тебя / Э. Фромм —  
«Алисторус», — (Клинические рассказы)

ISBN 978-5-00180-293-8

Эдипов комплекс – понятие психоанализа З.Фрейда. Названо по имени героя древнегреческой трагедии царя Эдипа, который, не зная этого, убил собственного отца и женился на собственной матери; узнав истину, он ослепил себя. Для аналогичных переживаний девочек Юнг ввел понятие «комплекс Электры». Согласно Фрейду, мальчик испытывает сексуальное влечение к собственной матери и желание устранить отца в качестве соперника (позитивный Эдипов комплекс). Не будучи в состоянии избавиться от отца, мальчик идентифицирует себя с ним, перенимая черты взрослого мужского поведения, а также систему моральных инструкций и запретов, присутствующих у взрослого, которые отныне становятся частью его личности. Наблюдается и противоположное желание – заменить отцу мать в качестве объекта желания (негативный Эдипов комплекс). Этот термин стал одним из центральных в учении о психоанализе. О том, как он развивается, к чему приводит и как его переживают различные пациенты рассказывают самые известные психоаналитики мира. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 53  
ББК 22.3

ISBN 978-5-00180-293-8

© Фромм Э.

© Алисторус

## Содержание

Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии	7
Введение	7
Боязнь инцеста	10
Табу и амбивалентность чувств	19
1	19
2	23
3	28
4	42
Анимизм, магия и всемогущество мысли	49
1	49
2	50
3	54
4	57
Инфантильное возвращение тотема	62
Конец ознакомительного фрагмента.	66

**Эрих Фромм, Зигмунд Фрейд, Карл  
Густав Юнг, Рональд Бриттон, Майкл  
Фельдман, Эдна О'Шонесси, Мелани Кляйн  
Эдипов комплекс. Мама, я люблю тебя**

© сост. Э. Джейкобсон, 2021

© ООО «Агентство Алгоритм», 2021

## **Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии**

### **Введение**

Нижеследующие четыре статьи, появившиеся в издаваемом мною журнале «Imago», первого и второго года издания, под тем же заглавием, что и предлагаемая книга, представляют собой первую попытку с моей стороны применить точку зрения и результаты психоанализа к невыясненным проблемам психологии народов. По методу исследования эти статьи являются противоположностью, с одной стороны, большому труду В. Вундта, пользующегося для той же цели положениями и методами неаналитической психологии, с другой – работам цюрихской школы, пытающейся, наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешить при помощи материала из области психологии народов. Охотно признаю, что ближайшим поводом к моей собственной работе послужили эти оба источника.

Я хорошо знаю недостатки моей работы. Я не хочу касаться пробелов, которые зависят от недостаточного на сегодняшний день количества клинического материала в этой области. Однако иные из них требуют пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на внимание широкого круга образованных людей, их, собственно говоря, могут понять и оценить только те немногие, кому не чужд психоанализ во всем его своеобразии. Задача этих статей – послужить посредником между этнологами, лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и психоаналитиками – с другой; и все же они не могут дать ни тем, ни другим того, чего им не хватает: первым – достаточного ознакомления с новой психологической техникой, последним – возможности в полной мере овладеть требующим обработки материалом. Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы здесь и там привлечь внимание и пробудить надежды на то, что если обе стороны будут встречаться чаще, то это окажется небесполезным для научного исследования.

Обе главные темы, давшие наименование этой книге, тотем и табу, получают в ней неодинаковую разработку. Анализ табу отличается безусловно большей достоверностью, и разрешение этой проблемы более исчерпывающее. Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в настоящее время психоаналитическое изучение может дать для объяснения проблемы тотема. Это различие связано с тем, что табу, собственно говоря, еще существует у нас; хотя отрицательно понимаемое и перенесенное на другие содержания, по психологической природе своей оно является не чем иным, как «категорическим императивом» Канта, действующим навязчиво и отрицающим всякую сознательную мотивировку. Тотемизм, напротив, – чуждый нашему современному чувствованию религиозно-социальный институт, в действительности давно оставленный и замененный новыми формами, оставивший только незначительные следы в религии, нравах и обычаях жизни современных народов и претерпевший, вероятно, большие изменения даже у тех народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и технические успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его инфантильным следам, из намеков, в каких он снова проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза, в конце концов, оказалась достаточно невероятной, то этот характер ее не дает основания для возражения против возможности того, что эта гипотеза все же в большей или меньшей степени приблизилась к трудно реконструируемой действительности.

*Рим. Сентябрь 1913.*

\* \* \*

Психоаналитическое исследование с самого начала указывало на аналогии и сходства результатов его работ в области душевной жизни отдельного индивида с результатами исследования психологии народов. Вполне понятно, что сначала это происходило робко и неуверенно в скромном объеме и не шло дальше области сказок и мифов. Целью распространения указанных методов на эту область было только желание вселить больше доверия к невероятным самим по себе результатам исследования указанием на такое неожиданное сходство.

За протекшие с тех пор полтора десятка лет психоанализ приобрел, однако, доверие к своей работе; довольно значительная группа исследователей, идя по указаниям одного, пришла к удовлетворительному сходству в своих взглядах, и теперь, как кажется, наступил благоприятный момент приступить к границе индивидуальной психологии и поставить работе новую цель. В душевной жизни народов должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но должна быть также сделана смелая попытка осветить при помощи сложившихся в психоанализе взглядов то, что осталось темным или сомнительным в психологии народов. Молодая психоаналитическая наука желает как бы вернуть то, что позаимствовала в самом начале своего развития у других областей знания, и надеется вернуть больше, чем в свое время получила.

Однако трудность предприятия заключается в качественном подборе лиц, взявших на себя эту новую задачу. Не к чему было бы ждать, пока исследователи мифов и психологии религий, этнологи, лингвисты и т. д. начнут применять психоаналитический метод мышления к материалу своего исследования. Первые шаги во всех этих направлениях должны быть безусловно предприняты теми, которые до настоящего времени, как психиатры и исследователи сновидений, овладели психоаналитической техникой и ее результатами. Но они пока не являются специалистами в других областях знания и если приобрели с трудом кое-какие сведения, то все же остаются дилетантами или в лучшем случае автодидактами. Они не смогут избежать в трудах своих слабостей и ошибок, которые легко будут открыты и, может быть, вызовут насмешку со стороны цехового исследователя-специалиста, в обладании которого имеется весь материал и умение распоряжаться им. Пусть же он примет во внимание, что наши работы имеют только одну цель: побудить его сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому ему материалу инструмент, который мы можем ему дать в руки.

Касаясь предлагаемой небольшой работы, я должен указать еще на одно извиняющее обстоятельство, а именно что она является первым шагом автора на чуждой ему до того почве. К этому присоединяется еще то, что по различным внешним мотивам она преждевременно появляется на свет и публикуется по истечении гораздо более короткого периода, чем другие сообщения, гораздо раньше, чем автор был в состоянии разработать богатую литературу предмета. Если я тем не менее не отложил публикации, то к этому побуждало меня соображение, что первые работы и без того грешат большей частью тем, что хотят охватить слишком много и стремятся дать такое полное разрешение задачи, какое, как показывают позднейшие исследования, никогда невозможно с самого начала. Нет поэтому ничего плохого в том, если сознательно и с намерением ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор находится в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо хороших грибов и прекрасных ягод и созывает своих спутников раньше, чем сам сорвал все, потому что видит, что сам не в состоянии справиться с обилием найденного.

У всякого, принимавшего участие в развитии психоаналитического исследования, остался достопамятным момент, когда С. G. Jung на частном научном съезде сообщил через



одного из своих учеников, что фантазии некоторых душевнобольных (*Dementia praecox*) удивительным образом совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Это указало не только на новый источник самых странных психических продуктов болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом значение параллелизма онтогенетического и филогенетического развития и в душевной жизни. Душевнобольной и невротик сближаются таким образом с первобытным человеком, с человеком отдаленного доисторического времени, и если психоанализ исходит из верных предположений, то должна открыться возможность свести то, что имеется у них общего, к типу инфантильной душевной жизни.

## Боязнь инцеста

Доисторического человека во всех стадиях развития, проделанных им, мы знаем по предметам и утвари, оставшимся после него, по сохранившимся сведениям о его искусстве, религии и мировоззрении, дошедшим до нас непосредственно или традиционным путем в сказаниях, мифах и сказках, и по сохранившимся остаткам образа его мыслей в наших собственных обычаях и нравах. Кроме того, в известном смысле он является нашим современником. Еще живут люди, о которых мы думаем, что они очень близки первобытным народам, гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых потомков и представителей древних людей. Таково наше мнение о диких и полудиких народах, душевная жизнь которых приобретает особый интерес, если мы в ней можем обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную степень нашего собственного развития. Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в «психологии первобытных народов», как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились благодаря психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомое уже и в той, и в другой области.

По внешним и внутренним причинам я останавливаю мой выбор для этого сравнения на племенах, выделяемых этнографами как самые дикие, несчастные и жалкие, а именно на туземцах самого молодого континента – Австралии, сохранившего в своей фауне так много архаического, исчезнувшего в других местах.

Туземцев Австралии рассматривают как особую расу, у которой ни физически, ни лингвистически не заметно никакого родства с ближайшими соседями, меланезийскими, полинезийскими и малайскими народами. Они не строят ни домов, ни прочных хижин, не обрабатывают земли, не разводят никаких домашних животных, кроме собаки, не знают даже гончарного искусства. Они питаются исключительно мясом различных животных, которых убивают, и кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни королей, ни вождей. Собрания взрослых мужчин решают общие дела. Весьма сомнительно, можно ли допустить у них следы религии в форме почитания высших существ. Племена внутри континента, вынужденные вследствие недостатка воды бороться с самыми жестокими жизненными условиями, по видимому, во всех отношениях еще более примитивны, чем жители побережья.

Мы, разумеется, не можем ждать, что эти жалкие нагие каннибалы окажутся в половой жизни нравственными в нашем смысле, в высокой степени ограничивающими себя в проявлениях своих сексуальных влечений. И тем не менее мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и мучительной строгостью избегать инцестуозных половых отношений. Больше того, вся их социальная организация направлена к этой цели или находится в связи с таким достижением.

Вместо всех отсутствующих религиозных и социальных установлений у австралийцев имеется система тотемизма. Австралийские племена распадаются на маленькие семьи, или кланы, из которых каждая носит имя своего тотема. Что же такое тотем? Обыкновенно животное, идущее в пищу, безвредное или опасное, внушающее страх, реже растение или сила природы (дождь, вода), находящиеся в определенном отношении ко всей семье. Тотем, во-первых, является праотцом всей семьи, кроме того, ангелом-хранителем и помощником, предрекающим будущее и узнающим и милующим своих детей, даже если обычно он опасен для других. Лица одного тотема за то связаны священным само собой влекущим наказанием обязательством не убивать (уничтожать) своего тотема и воздерживаться от употребления его мяса (или от другого доставляемого им наслаждения). Признак тотема не связан с отдельным животным или отдельным существом, а со всеми индивидами этого рода. От времени до времени устраиваются праздники, на которых лица одного тотема в церемониальных танцах изображают или подражают движениям своего тотема.

Тотем передается по наследству по материнской или отцовской линии; весьма вероятно, что первоначально повсюду был первый род передачи, и только затем произошла его замена вторым. Принадлежность к тотему лежит в основе всех социальных обязательств австралийцев; с одной стороны, она выходит за границы принадлежности к одному племени, с другой – отодвигает на задний план кровное родство.

Тотем не связан ни с областью, ни с местоположением. Лица одного тотема живут раздельно и мирно уживаются с приверженцами других тотемов.

А теперь мы должны, наконец, перейти к тем особенностям тотемистической системы, которые привлекают к ней интерес психоаналитика. Почти повсюду, где имеется тотем, существует закон, что члены одного и того же тотема не должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом экзогамию.

Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Он не оправдывается ничем из того, что мы до сих пор узнали о понятии или о свойствах тотема. Невозможно поэтому понять, каким образом он попал в систему тотемизма. Нас поэтому не удивляет, если некоторые исследователи определенно полагают, что первоначально – в древнейшие времена и соответственно настоящему смыслу – экзогамия не имела ничего общего с тотемизмом, а была некогда к нему добавлена без глубокой связи в то время, когда возникла необходимость в брачных ограничениях. Как бы там ни было, соединение тотемизма с экзогамией существует и оказывается очень прочным.

В дальнейшем изложении мы выясним значение этого запрета.

а) Соплеменники не ждут, пока наказание виновного за нарушение этого запрета постигнет его, так сказать, автоматически, как при других запретах тотема (например, при убийстве животного тотема), а виновный самым решительным образом наказывается всем племенем, как будто дело идет о том, чтобы предотвратить угрожающую всему обществу опасность или освободить его от гнетущей вины. Несколько строк из книги Фразера могут показать, как серьезно относятся к подобным преступлениям эти, с нашей точки зрения, в других отношениях довольно безнравственные дикари.

В Австралии обычное наказание за половое сношение с лицом из запрещенного клана – смертная казнь. Все равно, находилась ли женщина в той же самой группе людей или ее взяли в плен во время войны с другим племенем, мужчину из враждебного клана, имевшего с ней сношение как с женой, излавливают и убивают его товарищи по клану так же, как и женщину. Однако в некоторых случаях, если им удастся избежать на определенное время того, чтобы их поймали, оскорбление прощается. У племени Та-та-ти в Новом Южном Уэльсе в тех редких случаях, о которых известно, был умерщвлен только мужчина, а женщину избивали или расстреливали стрелами или подвергали ее и тому, и другому, пока не доводили ее до полусмерти. Причиной, почему ее не просто убивали, было предположение, что, может быть, она подверглась насилию. Точно так же при случайных любовных отношениях запрещения клана соблюдаются очень точно, нарушения таких запрещений оцениваются как гнуснейшие и караются смертной казнью (Howitt).

б) Так как такое же жестокое наказание полагается и за мимолетные любовные связи, которые не привели к деторождению, то маловероятно, чтобы существовали другие, например практические, мотивы запрета.

с) Так как тотем передается по наследству и не изменяется вследствие брака, то легко предвидеть последствия запрета, например при унаследовании со стороны матери. Если муж принадлежит к клану с тотемом кенгуру и женится на женщине с тотемом эму, то дети, маль-

чики и девочки, – все ему. Сыну, происшедшему из этого брака, благодаря правилу тотема окажется невозможным кровосмешительное общение с матерью и сестрами, которые также ему<sup>1</sup>.

d) Но достаточно одного указания, чтобы убедиться, что связанная с тотемом экзогамия дает больше, следовательно, и преследует больше, чем только предупреждение инцеста с матерью и сестрами. Она делает для мужчины невозможным половое соединение со всеми женщинами его клана, т. е. с целым рядом женщин, не находящихся с ним в кровном родстве, так как рассматривает всех этих женщин как кровных родственников. С первого взгляда совершенно не понятно психологическое оправдание этого громадного ограничения, далеко превосходящего все, что можно поставить наряду с ним у цивилизованных народов. Кажется только ясным, что роль тотема (животного) как предка принимается здесь всерьез. Все, что происходит от того же тотема, считается кровным родством, составляет одну семью, и в пределах этой семьи все считается абсолютным препятствием к сексуальному соединению, даже самые отдаленные степени родства.

Эти дикари проявляют таким образом необыкновенно высокую степень боязни инцеста, или инцестуозной чувствительности, связанной с не совсем понятной нам особенностью, состоящей в замене реального кровного родства тотемистическим родством. Нам незначит, однако, слишком преувеличивать это противоречие, а сохраним лишь в памяти, что запреты тотема включают реальный инцест как частичный случай.

Но остается загадкой, каким же образом произошла при этом замена настоящей семьи кланом тотема, и разрешение этой загадки совпадает, может быть, с разъяснениями самого тотема. Приходится при этом, разумеется, подумать и о том, что при известной свободе сексуального общения, переходящей границы брака, кровное родство, а вместе с ним и предупреждение инцеста становятся настолько сомнительными, что является необходимость в другом обосновании запрета. Нелишним поэтому будет заметить, что нравы австралийцев признают такие социальные условия и торжественные случаи, при которых исключается обычное право мужчины на женщину.

Язык этих австралийских племен отличается особенностью, имеющей несомненную связь с интересующим нас вопросом. А именно обозначение родства, которым они пользуются, имеет в виду не отношения двух индивидов между собой, а отношения между индивидом и группой. Они принадлежат, по выражению Л. Г. Моргана, к «классифицирующей» системе. Это значит, что всякий называет отцом не только своего родителя, но и другого любого мужчину, который согласно законам его племени мог бы жениться на его матери и стать таким образом его отцом. Он называет матерью, помимо своей родительницы, всякую другую женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать его матерью. Он называет «бра-том», «сестрой» не только детей его настоящих родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в родительской группе по отношению к нему, и т. д. Родственные названия, которые дают друг другу два австралийца, не указывают, следовательно, на кровное родство между ними, как это соответствовало бы смыслу нашего языка. Они означают скорее социальную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирующей системе проявляется у нас в детском языке, когда ребенка заставляют каждого приятеля и приятельницу родителей называть «дядей», «тетей» или, в переносном смысле, когда мы говорим о «братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».

---

<sup>1</sup> Отцу, который принадлежит к клану с тотемом кенгуру, предоставляется, однако, возможность, по крайней мере согласно этому запрету, инцеста со своими дочерьми ему. При унаследовании тотема со стороны отца – кенгуру и детей также кенгуру отцу был бы тогда запрещен инцест с дочерьми, а для сына был бы возможен инцест с матерью. Эти следствия запрета тотема содержат указания на то, что унаследование по материнской линии более старое, древнее, чем по отцовской линии, потому что есть основания полагать, что запреты тотема прежде всего направлены против инцестуозных воцелений сына.

Нетрудно найти объяснение этого столь странного для нас оборота речи, если видеть в нем остаток того брачного института, который Фисон<sup>2</sup> назвал «групповым браком», сущность которого состоит в том, что известное число мужчин осуществляет свои брачные права над известным числом женщин. Дети этого группового брака имеют основание смотреть друг на друга как на братьев и сестер, хотя они не все рождены одной и той же матерью и считают всех мужчин группы своими отцами.

Хотя некоторые авторы, как, например, Э. Вестермарк в его «Истории человеческого брака», не соглашались с выводами, которые другие авторы сделали из существования в языке названий группового родства, все же лучшие знатоки австралийских дикарей согласны в том, что классифицирующие названия родства следует рассматривать как пережиток времен группового брака. Больше того, по мнению Спенсера и Гиллена, еще и теперь можно установить существование известной формы группового брака у племен урубанна и диери. Групповой брак предшествовал, следовательно, индивидуальному браку у этих народов и исчез, оставив ясные следы в их языке и нравах.

Если мы заменим индивидуальный брак групповым, то нам станет понятной кажущаяся чрезмерность предохранительных мер против инцеста, встречающихся у этих народов. Эксогамия тотема, запрещение сексуальных общений с членами одного и того же клана кажутся целесообразным средством для предупреждения группового инцеста; впоследствии это средство зафиксировалось и на долгое время пережило оправдывавшие его мотивы.

Если мы думаем, что поняли мотивы брачных ограничений австралийских дикарей, то нам предстоит еще узнать, что в существующих в действительности условиях наблюдается гораздо большая, на первый взгляд, сбивающая сложность. В Австралии имеется очень немного племен, у которых нет других запретов, кроме ограничений тотема. Большинство племен организовано таким образом, что они сперва распадаются на два отдела, названных брачными классами (по англ. *Phrathries*). Каждый из этих классов экзогамичен и включает большое число тотемичных семейств. Обыкновенно каждый брачный класс подразделяется на два подкласса (субфратрии), а все племя, следовательно, – на четыре; подклассы занимают место между фратриями и тотемическими семьями.

Типичная, очень часто встречающаяся схема организаций австралийского племени имеет, следовательно, такой вид.

Двенадцать тотемичных семейств распределены между двумя классами и четырьмя подклассами. Все отделения экзогамичны<sup>3</sup>. Подкласс с составляет экзогамичное единство с e, а подкласс d – с f. Результат, т. е. тенденция этой организации, не подлежит сомнению; таким путем достигается дальнейшее ограничение брачного выбора и сексуальной свободы. Если бы существовало двенадцать тотемичных семейств, то, наверное, каждый член семейства, если предполагать равное число людей в каждом семействе, имел бы выбор между 11/12 всех женщин племени. Существование двух фратрий ограничивало бы число на 6/12 – равное половине; мужчина тотема и может жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При введении обоих подклассов выбор понижается до 3/12, т. е. до 1/4. Мужчина тотема а вынужден ограничить свой брачный выбор женщинами тотема 4, 5, 6.

Историческое отношение между брачными классами, число которых у некоторых племен доходит до 8, и тотемистическими семействами безусловно не выяснено. Очевидно только, что эти учреждения стремятся достичь того же, что и экзогамия, и даже еще большего, но в то время как тотем-эксогамия производит впечатление священного установления, сложившегося неизвестно каким образом, т. е. обычая, сложные учреждения брачных классов, их подразделения и связанные с ними условия, по-видимому, исходят из стремящегося к определен-

---

<sup>2</sup> Лоример Фисон (1832–1907) – австралийский антрополог, методистский священник и журналист.

<sup>3</sup> Число тотемов произвольно.

ной цели законодательства, может быть, снова поставившего себе задачей предохранительные меры против инцеста, потому что влияние тотема ослабело. И в то время как тотемистическая система, как нам известно, составляет основу всех других социальных обязанностей и нравственных ограничений племени, значение фратрии в общем исчерпывается достигаемым ими урегулированием брачного выбора.

В дальнейшем развитии системы брачных классов проявляется стремление расширить предохранительные меры за пределы естественного и группового инцеста и запретить браки между более отдаленными родственными группами, подобно тому как это делала католическая церковь, распространив давно существовавшее запрещение брака между братьями и сестрами на двоюродных братьев и сестер и прибавив к этому еще духовные степени родства.

Для интересующей нас проблемы не будет никакой выгоды от того, если мы попытаемся глубже вникнуть в чрезвычайно запутанные и невыясненные споры о происхождении и значении брачных классов, как и об отношениях к тотему. Для наших целей вполне достаточно указания на ту большую тщательность, с которой австралийцы и другие дикие народы стараются избежать инцеста. Мы должны сознаться, что эти дикари даже более чувствительны к инцесту, чем мы. Вероятно, у них больше искушений, и потому против него они нуждаются в более обширных защитительных мерах.

Боязнь инцеста у этих народов не довольствуется, однако, установлением описанных институтов, которые, как нам кажется, направлены преимущественно против группового инцеста. Мы должны еще прибавить целый ряд «обычаев», которые направлены против индивидуального общения близких родственников в нашем смысле и соблюдаются совершенно с религиозной строгостью, цель которых не может подлежать никакому сомнению. Эти обычаи, или требуемые обычаем запреты, можно назвать «избеганием» (avoidances). Их распространение переходит далеко за пределы австралийских тотемистических народов, но и тут я попрошу читателя довольствоваться фрагментарным отрывком из богатого материала.

В Меланезии такие ограничивающие запрещения касаются сношений мальчиков с матерью и сестрами. Так, например, на острове Леперс, одном из Неогибридных островов, мальчик в известном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в «клубный дом», где он с того времени постоянно спит и ест. Если ему и дозволяется посещать свой дом, чтобы получать оттуда пищу, то он должен уйти оттуда не поевши, если его сестры находятся дома; если же никого из сестер нет дома, то он может сесть возле двери и поесть. Если брат и сестра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать или спрятаться в сторону. Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему нельзя идти по этим следам так же, как и им по его следам. Больше того, он не смеет произносить их имен и побояться произнести самое обыкновенное слово, если оно входит, как составная часть, в их имя. Это «избегание», начинающееся со времени церемониала возмужалости, соблюдается в течение всей жизни. Сдержанность в отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается, проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она приносит сыну что-нибудь поесть, то не передает ему сама, а только ставит перед ним. Она не обращается к нему с интимной речью, говорит ему, согласно нашему обороту речи, не «ты», а «вы». Подобные же обычаи господствуют в Новой Каледонии. Если брат и сестра встречаются, то она прячется в кусты, а он проходит мимо, не поворачивая головы.

На полуострове Газели в Новой Британии сестра по выходе замуж не должна вовсе разговаривать со своим братом, она также не произносит больше его имени, а говорит о нем описательно.

На Новом Мекленбурге такие ограничения распространяются на двоюродных брата и сестру (хотя не всякого рода), но также и на родных брата и сестру; они не должны близко подходить друг к другу, не должны давать руки друг другу, делать подарков, но могут говорить

друг с другом на расстоянии нескольких шагов. В наказание за инцест с сестрой полагается смерть через повешение.

На островах Фиджи правила «избегания» особенно строги. Они касаются там не только кровных родственников, но даже и групповых сестер. Тем более странное впечатление производит на нас, когда мы слышим, что этим дикарям известны священные оргии, в которых лица именно с этой запрещенной степенью родства отдаются половому соединению, – если мы только не предпочтем воспользоваться этим противоречием для объяснения указанного запрещения, вместо того чтобы ему удивляться.

У племени Батта на Суматре эти правила «избегания» распространяются на все родственные отношения. Для Батта было бы крайне неприлично сопровождать родную сестру на вечеринку. Батта-брат чувствует себя крайне неловко в обществе сестры даже в присутствии посторонних лиц. Если кто-нибудь из них заходит в дом, то другой предпочитает уйти. Отец не останется наедине со своей дочерью в доме, так же как и мать со своим сыном. Голландский миссионер, сообщая об этих нравах, прибавляет, что, к сожалению, должен считать их очень обоснованными. У этого народа принято думать, что пребывание наедине мужчины с женщиной приведет к неподобающей интимности, и так как они опасаются всевозможных наказаний и печальных последствий от полового общения между кровными родственниками, то поступают вполне правильно, когда благодаря таким запретам стараются избежать подобных искушений.

У племени Баронго в бухте Делагоа в Африке странным образом самые строгие предосторожности принимаются по отношению к невестке, жене брата собственной жены. Если мужчина встречается где-нибудь с этой опасной для него личностью, то тщательно избегает ее. Он не рискует есть с ней из одной миски, нерешительно заговаривает с ней, не позволяет себе зайти в ее хижину и здоровается с ней дрожащим голосом.

У народа Акамба (или Вакамба) в Британской Ост-Африке существует закон «избегания», который должен был бы встречаться чаще. Девушка обязана тщательно избегать родного отца в период времени между наступлением половой зрелости и замужеством. Она прячется при встрече с ним на улице, никогда не рискует сесть возле него и ведет себя так до момента своего обручения. После замужества нет больше никаких препятствий для ее общения с отцом.

Самое распространенное и самое интересное для цивилизованных народов «избегание» касается ограничений общения между мужчиной и его тещей. Оно распространено повсюду в Австралии, а также в силе у меланезийских, полинезийских и негритянских народов; поскольку распространены следы тотемизма и группового родства, и, вероятно, имеет еще большее распространение. У некоторых из этих народов имеются подобные же запрещения безобидного общения женщины с ее свекром, но все же они не так уже постоянны и не так серьезны. В отдельных случаях и тесть, и теща становятся предметом «избегания».

Так как нас меньше интересует этнографическое распространение, чем содержание и цель избегания тещи, то я и в этом случае ограничусь сообщением немногих примеров.

На Банковых островах эти запреты очень строги и мучительно точны. Мужчина должен избегать своей тещи так же, как и она его. Если они случайно встречаются на тропинке, то женщина отходит в сторону и поворачивается к нему спиной, пока он не пройдет, или то же самое делает он.

В племени Ванна Лава мужчина не должен проходить даже берегом моря за своей тещей раньше, чем прилив не смоет следов ее ног на песке. Но они могут разговаривать друг с другом на известном расстоянии. Совершенно исключается возможность того, чтобы он когда-нибудь произнес имя своей тещи или она – зятя.

На Соломоновых островах мужчина со времени женитьбы не должен ни смотреть на свою тещу, ни разговаривать с ней. Когда он встречается с ней, то делает вид, как будто не знает ее, и изо всех сил убегает, чтобы спрятаться от нее.

У зулусов нравы требуют, чтобы мужчина стыдился своей тещи, чтобы он всячески старался избегать ее общества. Он не входит в хижину, в которой она находится, и если они встречаются, то он или она уходит в сторону, так что она прячется в кусты, а он прикрывает лицо щитом. Если они не могут избежать друг друга и женщине не во что закутаться, то она привязывает хотя бы пучок травы вокруг своей головы, чтобы выполнить необходимую церемонию. Общение между ними происходит или через третье лицо, или они могут, крича, разговаривать друг с другом на известном расстоянии, имея между собой какую-нибудь преграду, например стены краала. Ни один из них не должен произносить имени другого.

У Басога, негритянского племени в области истоков Нила, мужчина может разговаривать со своей тещей только тогда, когда он в другом помещении дома и не видит ее. Этот народ, между прочим, так боится кровосмешательства, что не оставляет его безнаказанным даже у домашних животных.

В то время как цель и значение других «избеганий» между родственниками не подлежат сомнению и понимаются всеми наблюдателями как предохранительные меры против кровосмешательства, запретом, касающимся общения с тещей, некоторые придают ему другое значение. Вполне естественно, что кажется непонятным, почему у всех этих народов имеется такой большой страх перед искушением, воплощенным для мужчины в образе уже немолодой женщины, хотя в действительности и не матери его, но такой, какая могла бы быть его матерью.

Это возражение выдвигалось и против взгляда Фисона, обратившего внимание на то, что некоторые системы брачных классов имеют в этом отношении пробел, допуская теоретически брак между мужчиной и его тещей; поэтому и явилась необходимость в особенном предупреждении этой возможности.

Сэр Дж. Леббок сводит в своем сочинении «Происхождение цивилизации» поведение тещи по отношению к зятю к существовавшему когда-то браку посредством похищения (marriage by capture). «Пока имело место похищение женщин, возмущение родителей должно было быть достаточно серьезным. Когда от этой формы брака остались только символы, было символизировано также возмущение родителей, и этот обычай сохранился после того, как происхождение его забылось». Кроули легко было показать, как мало это объяснение соответствует деталям фактического наблюдения.

Тэйлор полагает, что отношение тещи к зятю представляет собой только форму «непризнания» (cutting) со стороны семьи жены. Муж считается чужим до тех пор, пока не рождается первый ребенок. Однако, помимо тех случаев, когда последнее условие не уничтожает запрещения, это объяснение вызывает возражение, что оно не объясняет распространения обычая на отношение между тещей и зятем, т. е. не обращает внимания на половой фактор, и что оно не считается с моментом чисто священного отвращения, которое проявляется в законе об избегании.

Зулуска, которую спросили о причине запрещения, дала с большой чуткостью ответ: нехорошо, чтобы он видел сосцы, вскормившие его жену.

Известно, что отношение между зятем и тещей составляет и у цивилизованных народов слабую сторону организации семьи. В обществе белых народов Европы и Америки хотя и нет больше законов об избегании, но можно было бы избежать многих ссор и неприятностей, если бы такие законы сохранились в нравах и не приходилось их снова воскрешать отдельным индивидам. Иному европейцу может показаться актом глубокой мудрости, что дикие народы благодаря закону об избегании сделали наперед невозможным возникновение несогласия между этими лицами, ставшими такими близкими родственниками. Не подлежит никакому сомнению, что в психологической ситуации тещи и зятя существует что-то, что способствует вражде между ними и затрудняет совместную жизнь. То обстоятельство, что остроты цивилизованных народов так нередко избирают своим объектом тему о теще, как мне кажется, указывает на то, что чувственные реакции между зятем и тещей содержат еще компоненты, резко противоре-



чащие друг другу. Я полагаю, что это отношение является, собственно говоря, «амбивалентным», состоящим из нежных и враждебных чувств.

Известная часть этих чувств совершенно ясна: со стороны тещи – нежелание отказаться от прав на дочь, недоверие к чужому, на ответственность которого предоставлена дочь, тенденция сохранить господствующее положение, с которым она сжилась в собственном доме. Со стороны мужа – решимость не подчиняться больше ничьей воле, ревность к лицам, которым принадлежала до него нежность его жены, и – last not least – нежелание, чтобы нарушили его иллюзию сексуальной переоценки. Такое нарушение чаще всего происходит от черт лица тещи, которые во многом напоминают ему дочь и в то же время лишены юности, красоты и психической свежести, столь ценных для него у его жены.

Знание скрытых душевных движений, которое дало нам психоаналитическое исследование отдельных людей, позволяет нам прибавить к этим мотивам еще другие мотивы. В тех случаях, где психосексуальные потребности женщины в браке и в семейной жизни требуют удовлетворения, ей всегда грозит опасность неудовлетворенности, благодаря преждевременному окончанию супружеских отношений и монотонности ее душевной жизни. Стареющая мать защищается от этого тем, что она живет чувствами своих детей, отождествляет себя с ними, испытывая вместе с ними их переживания в области чувств. Говорят, что родители молодуют со своими детьми; это в самом деле одно из самых ценных психических преимуществ, которые родители получают от своих детей. В случае бездетности отпадает одна из лучших возможностей перенести необходимую резиньацию в собственном браке. Это вживание в чувство дочери заходит у матери так далеко, что и она влюбляется в любимого мужа дочери, что в ярких случаях, вследствие сильного душевного сопротивления против этих чувств, ведет к тяжелым формам невротического заболевания. Тенденция к влебленности у тещи во всяком случае бывает очень часто, и или это самое чувство, или противодействующее ему душевное движение присоединяется к урагану борющихся между собою сил в душе тещи. Очень часто на зятя обращаются неприязненные садистические компоненты любовного движения, чтобы тем вернее подавить запретные нежные.

У мужчины отношение к теще осложняется подобными же душевными движениями, но исходящими из других источников. Путь к выбору объекта обычно вел его через образ матери, может быть, еще и сестер, к объекту любви; вследствие ограничений инцеста его любовь отошла от обоих дорогих лиц его детства, с тем чтобы остановиться на чужом объекте, выбранном по их образу и подобию. Место его родной матери и матери его родной сестры теперь занимает теща. Развивается тенденция вернуться к выбору первых времен; но все в нем противится этому. Его страх перед инцестом требует, чтобы ничто не напоминало ему генеалогии его любовного выбора; то обстоятельство, что теща принадлежит к актуальной действительности, что он не знал ее уже с давних пор и не мог сохранить в бессознательном ее образ неизменным, облегчает ему отрицательное отношение к ней. Особенная примесь раздражительности и обозленности к этой амальгаме чувств заставляет нас предполагать, что теща действительно представляет собой инцестуозное искушение для зятя, подобно тому, как с другой стороны нередко бывает, что мужчина сперва открыто влюбляется в свою будущую тещу, прежде чем его склонность переходит на ее дочь.

Я не вижу, что помешало бы предположить, что именно этот инцестуозный фактор взаимоотношений мотивирует избегание тещи и зятя у дикарей. Мы предпочли бы поэтому для объяснения столь строго соблюдаемых «избеганий» этих примитивных народов выраженное первоначально Фисоном мнение, усматривающее в этих предписаниях только защиту против опять-таки возможного инцеста. То же относится ко всем другим «избеганиям» между кровными родственниками или свойственниками. Различие заключается в том, что в первом случае кровосмешение является непосредственным и намерение предупредить его могло бы быть сознательным; во втором случае, включающем также и отношение к теще, инцест был

бы воображаемым искушением, передающимся посредством бессознательных промежуточных звеньев.

В предыдущем изложении у нас не было случая показать, что, пользуясь психоаналитическим освещением, можно по-новому понять факты психологии народов, потому что боязнь инцеста у дикарей давно уже стала известной и не нуждается в дальнейшем толковании. К оценке ее мы можем прибавить утверждение, что она представляет собой типичную инфантильную черту и удивительное сходство с душевной жизнью невротиков. Психоанализ научил нас тому, что первый сексуальный выбор мальчика инцестуозен, направлен на запрещенные объекты – мать и сестру, – и показал нам также пути, которыми идет подрастающий юноша для освобождения от соблазна инцеста. Но невротик обнаруживает постоянно некоторую долю психического инфантилизма, он или не мог освободиться от детских условий психосексуальности, или он вернулся к ним (задержка в развитии, регрессия). Поэтому в его бессознательной душевной жизни все еще продолжают или снова начинают играть главную роль инцестуозные фиксации либидо. Мы пришли к тому, что объявили основным комплексом невроза отношения к родителям, находящиеся во власти инцестуозных желаний. Открытие этого значения инцеста для невроза встречает, разумеется, общее недоверие взрослых и нормальных. Такое же непризнание ждет работы Отто Ранка, все больше и больше убеждающие, насколько тема инцеста занимает центральное место в мотивах художественного творчества и в бесконечных вариациях и искажениях дает материал поэзии. Приходится думать, что такое непризнание является прежде всего продуктом глубокого отвращения людей к их собственным прежним, подпавшим затем вытеснению инцестуозным желаниям. Для нас поэтому важно, что на диких народах мы можем показать, что они чувствовали угрозу в инцестуозных желаниях человека, которые позже должны были сделаться бессознательными, и считали необходимым прибегать к самым строгим мерам их предупреждения.

## Табу и амбивалентность чувств

### 1

Табу – полинезийское слово, которое трудно перевести, потому что у нас нет больше обозначаемого им понятия. Древним римлянам оно было еще известно; их запрет был тем же, что табу полинезийцев; точно так же и у греков. Так называемый «кобуш» древних евреев, вероятно, имели то же значение, которое полинезийцы выражают посредством их табу, а многие народы в Америке, Африке (Мадагаскар), Северной и Центральной Азии – аналогичными названиями.

Для нас значение табу разветвляется в двух противоположных направлениях. С одной стороны, оно означает святой, освященный, с другой – жуткий, опасный, запретный, нечистый. Противоположность табу по-полинезийски называется поа – обычный, общедоступный. Таким образом, с табу связано представление чего-то, требующего осторожности, табу выражается, по существу, в запрещениях и ограничениях. Наше сочетание «священный трепет» часто совпадает со смыслом табу.

Ограничения табу представляют собой не что иное, нежели религиозные или моральные запрещения. Они сводятся не к заповеди бога, а запрещаются собственно сами собой. От запретов морали они отличаются отсутствием принадлежности к системе, требующей вообще воздержания и приводящей основание для такого требования. Запреты табу лишены всякого обоснования. Они неизвестного происхождения. Непонятные для нас, они кажутся чем-то само собой разумеющимся тем, кто находится в их власти.

Вундт называет табу самым древним неписанным законодательным кодексом человечества. Общепринято мнение, что табу древнее богов и восходит ко временам, предшествующим какой бы то ни было религии.

Так как мы нуждаемся в беспристрастном описании табу, чтобы подвергнуть его психоаналитическому исследованию, то я привожу цитату из статьи «Taboo» из «Encyclopedia Britannica», автором которой является антрополог Норткот В. Томас. «Строго говоря, табу обнимает только: а) священный (или нечистый) признак лиц или вещей; б) род ограничения, вытекающий из этого признака, и с) святость (или нечисть), происходящую вследствие нарушения этого запрещения. Противоположность табу в Полинезии называется “поа”, что означает “обычный” или “общий”...

В ином смысле можно различать отдельные виды табу: 1. Естественное, или прямое, табу, являющееся результатом таинственной силы (Мала), связанное с каким-нибудь лицом или вещью; 2. Переданное, или не прямое, табу, также исходящее от той же силы, но или а) приобретенное, или б) переданное священником, вождем или кем-нибудь другим; наконец; 3. Табу, составляющее середину между двумя другими видами, именно когда имеются в виду оба фактора, как, например, когда мужчина присваивает себе женщину. Название табу применяется также и к другим ограничениям ритуала, однако не все, что скорее можно назвать религиозным запретом, следует причислять к табу».

«Цели табу разнообразны: цель прямого табу состоит в: а) охране важных лиц, как то: вождей, священников, предметов и т. п., от возможных повреждений; б) в защите слабых – женщин, детей и вообще обыкновенных людей против могущественного Мапа (магической силы) священников и вождей; с) в защите от опасностей, связанных с прикосновением к трупам или с едой известной пищи и т. п.; d) в охране важных жизненных актов, как то: родов, посвящения взрослого мужчины, брака, сексуальной деятельности; е) в защите человеческих

существ от могущества или гнева богов и демонов<sup>4</sup>; f) в охране нерожденных и маленьких детей от разнообразных опасностей, угрожающих им вследствие их особой симпатической зависимости от их родителей, если, например, последние делают известные вещи или едят пищу, прием которой мог бы передать детям особенные свойства. Другое применение табу служит защите собственности какого-нибудь лица, его орудий, его поля от воров» и т. д.

«Наказание за нарушение табу первоначально предоставляется внутренней действующей автоматически организации. Нарушение табу мстит за себя. Если присоединяется представление о богах и демонах, имеющих связь с табу, то от могущества божества ожидается автоматическое наказание. В других случаях, вероятно, вследствие дальнейшего развития понятия, общество само берет на себя наказание дерзнувшего, преступление которого навлекает опасность на его товарищей. Таким образом, первые системы наказания человечества связаны с табу».

«Кто преступил табу, сам благодаря этому стал табу. Известных опасностей, проистекающих от нарушения табу, можно избежать благодаря покаянию и религиозным церемониям».

«Источником табу считают особенную чародейственную силу, имеющуюся в людях и духах, которая от них может быть перенесена при помощи неодушевленных предметов. Лица или вещи, являющиеся табу, можно сравнить с предметами, заряженными электричеством, они являются вместилищем страшной силы, проявляющейся при прикосновении в виде опасного влияния, когда организм, вызвавший разряд, слишком слаб, чтобы противостоять ему. Результат нарушения табу зависит поэтому не только от интенсивности магической силы, присущей табу-объекту, но также и от силы Мапа, сопротивляющейся этой силе у преступника. Так, например, короли и священники обладают могущественной силой, и вступление в непосредственное прикосновение с ними означало бы смерть для их подданных, но министр или другое лицо, обладающие Мапа в большем, чем обыкновенно, размере, могут безопасно вступать с ними в общение, и эти посредники могут в свою очередь разрешать близость своим подчиненным, не навлекая на них опасности. Также переданные табу по своему значению зависят от Мапа того лица, от которого они исходят; если табу налагает король или священник, то оно действительнее, чем если оно налагается обыкновенным человеком».

Передача табу была, вероятно, той особенностью, которая дала повод пытаться устранить его посредством церемониала искупления.

«Табу бывают постоянные и временные. Священники и вожди относятся к первому роду, а также мертвецы и все, что им принадлежало. Временные табу связаны с известными состояниями, с менструацией и родами, со званием воина до и после похода, с деятельностью рыбака, охотника и т. п. Общее табу может быть также распространено на большую область подобно церковному интердикту и оставаться на ней годами».

Если мне удалось правильно оценить впечатление моих читателей, то позволю себе утверждать, что после всего изложенного о табу они уже окончательно не знают, что понимать под ним и какое место уделить ему в своем мышлении. Это происходит, наверное, вследствие недостаточной информации, полученной ими от меня, и отсутствия всех рассуждений об отношении табу к суеверию, к вере в переселение души и к религии. Но, с другой стороны, я опасаясь, что более подробное описание всего известного о табу привело бы еще к большей путанице, и смею уверить, что в действительности положение вещей очень неясно. Итак, дело идет о целом ряде ограничений, которым подвергаются эти первобытные народы; то одно, то другое запрещено неизвестно почему, а им и в голову не приходит задуматься над этим; они подчиняются этому, как чему-то само собой понятному, и убеждены, что нарушение табу само собой повлечет жесточайшее наказание. Имеются достоверные сведения о том, что нарушение подобного запрещения по неведению действительно автоматически влекло за собой наказание. Невинный

---

<sup>4</sup> Это применение табу, как непервоначальное, может быть оставлено без внимания в этом изложении.

преступник, который съел запрещенное животное, впадает в глубокую депрессию, ждет своей смерти и затем в самом деле умирает. Запрещения большей частью касаются стремления к наслаждению, свободы передвижения и общения; в некоторых случаях они имеют определенный смысл, означая явно воздержание и отказ, в других случаях они по содержанию своему непонятны, касаются не имеющих никакого значения мелочей и являются, по-видимому, особого рода церемониалом. В основе всех этих запретов лежит как будто своего рода теория, будто запрещения необходимы потому, что некоторым лицам и вещам свойственна опасная сила, передающаяся при прикосновении к заряженному ею объекту почти как зараза. Во внимание принимается также и величина этого опасного свойства. Один или одно обладает им в большем количестве, чем другое, и опасность соразмеряется с различием силы заряда. Но самое странное в этом то, что тот, кому удалось нарушить такое запрещение, сам приобретает признаки запретного, как бы приняв на себя весь опасный заряд. Эта сила свойственна всем лицам, представляющим собой нечто исключительное, как то королям, священникам, новорожденным и всем исключительным состояниям, как то физиологическим состояниям менструаций, наступлению половой зрелости, родам; всему жуткому, как то болезни и смерти, и всему связанному с ними, благодаря способности к заражению и распространению.

«Табу» называется, однако, все, как лица, так и местности, предметы и временные состояния, являющиеся носителями и источниками этого таинственного свойства. Табу также называется запрещение, вытекающее из этого свойства, и табу – в дословном смысле – называется нечто такое, что одновременно и свято, и стоит превыше обычного, так же как и опасное, и нечистое, и жуткое.

В этом слове и обозначаемой им системе находит выражение уголок душевной жизни, понимание которого, по-видимому, нам действительно как будто недоступно. Но прежде всего нужно принять во внимание, что нельзя приблизиться к пониманию этого, не углубившись в характерную для столь низких культур веру в духов и демонов. Но для чего нам вообще интересоваться загадкой табу? Я полагаю: не только потому, что всякая психологическая проблема заслуживает попытки своего разрешения, но еще и по другим причинам. Мы подозреваем, что табу дикарей Полинезии не так уж чуждо нам, как это кажется с первого взгляда, что запрещения морали и обычаев, которым мы сами подчиняемся, по существу своему могут иметь нечто родственное этому примитивному табу и что объяснение табу могло бы пролить свет на темное происхождение нашего собственного «категорического императива».

С особенно напряженным ожиданием мы будем прислушиваться, если такой исследователь, как В. Вундт, говорит нам о своем понимании табу, тем более что он обещает «дойти до последних корней представления табу».

О понятии табу Вундт говорит, что оно «обнимает все обычаи, в которых выражается боязнь определенных, связанных с представлениями культа объектов или относящихся к ним действий».

В другой раз Вундт говорит: «если понимать под ним (под табу), соответственно общему значению слова, любое утвержденное обычаем и нравами или точно сформулированными законами запрещение прикасаться к какому-нибудь предмету, пользоваться им для собственного употребления или употреблять известные запретные слова»..., то вообще нет ни одного народа и ни одной ступени культуры, которые были бы свободны от вреда, наносимого табу.

Вундт далее указывает, почему ему кажется более целесообразным изучать природу табу в примитивных условиях австралийских дикарей, а не в более высокой культуре полинезийских народов. У австралийцев он распределяет запрещения табу на три класса в зависимости от того, касаются ли они животных, людей или других объектов. Табу животных, состоящее главным образом в запрещении убивать и употреблять в пищу, составляет ядро тотемизма. Табу второго рода, имеющее своим объектом человека, носит, по существу, другой характер. С самого начала оно ограничивается условиями, создающими для подверженного табу необы-

чайное положение в жизни. Так, например, юноши являются табу при торжестве посвящения в зрелые мужи, женщины – во время менструации или непосредственно после родов; табу бывают также новорожденные дети, больные и, главным образом, мертвецы. На находящейся в постоянном употреблении собственности человека лежит неизменное табу для всякого другого, например на его платье, оружии и орудиях. Личную собственность составляют в Австралии также новое имя, получаемое мальчиком при посвящении в зрелые мужи, оно – табу и должно сохраняться в тайне. Табу третьего рода, объектом которого являются деревья, растения, дома и местности, более постоянно и, по-видимому, подчиняются только тому правилу, что налагается на все, что по какой-нибудь причине вызывает опасение или жуткое чувство.

Изменение, которое табу претерпевает в более богатой культуре полинезийцев и на Малайском архипелаге, сам Вундт считает нужным признать не особенно глубоким. Более значительная социальная дифференцировка этих народов проявляется в том, что вожди, короли и священники осуществляют особенно действительное табу и сами подвержены самой сильной власти табу.

Но настоящие источники табу лежат глубже, чем в интересах привилегированных классов: «они возникают там, где берут свое начало самые примитивные и в то же время самые длительные человеческие влечения, – из страха перед действием демонических сил». «Будучи первоначально не чем иным, как объективировавшимся страхом перед предполагавшейся демонической силой, скрытой в подвергнутом табу предмете, такое табу запрещает дразнить эту силу и требует мер предупреждения против мести со стороны демона, когда оно нарушается сознательно или нечаянно».

Табу постепенно становится основывающейся на самой себе силой, освободившейся от демонизма. Оно налагает свою печать на нравы, обычаи и, наконец, на закон. «Но заповедь, неизреченная, скрывающаяся за меняющимися в таком разнообразии, в зависимости от места и времени, запрещениями табу, первоначально одна: берегись гнева демонов».

Вундт учит нас таким образом, что табу основывается на вере примитивных народов в демонические силы. Впоследствии табу отделилось от этой основы и осталось силой просто потому, что оно таковой было, вследствие своего рода психической косности; таким образом, оно само становится основой требований наших нравов и наших законов. Как мало ни вызывает возражений первое из этих положений, я все же полагаю, что высказываю впечатления многих читателей, называя объяснения Вундта ничего не говорящими. Ведь это не значит спуститься до источников представления табу или раскрыть его последние корни. Ни страх, ни демоны не могут в психологии иметь значения последних причин, не поддающихся уже далее никакому разложению; было бы иначе, если бы демоны действительно существовали, но мы ведь знаем, что они сами, как и боги, являются созданием душевных сил человека; они созданы от чего-то и из чего-то.

О двояком значении табу Вундт высказывает значительные, но не совсем ясные взгляды. В самых примитивных зачатках табу, по его мнению, еще нет разделения на святое и нечистое. Именно поэтому в них здесь вообще отсутствуют эти понятия в том значении, какое они приобретают только благодаря противоположности, в которую они оформились. Животное, человек, место, на котором лежит табу, обладают демонической силой, они еще не священны и потому еще и не нечисты в более позднем смысле. Именно для этого еще индифферентного среднего значения демонического, до которого нельзя прикасаться, выражение табу является самым подходящим, так как подчеркивает признак, становящийся, в конце концов, навсегда общим и для святого, и для нечистого боязнью прикосновения к нему. В этой остающейся общности важного признака кроется, однако, одновременно указание на то, что здесь имеется первоначальное сходство обеих областей, уступившее место дифференциации только вследствие возникновения новых условий, благодаря которым эти области, в конце концов, развились в противоположности.

Свойственная первоначальному табу вера в демоническую силу, скрытую в предмете и мстящую тому, кто прикоснется к предмету или сделает из него неразрешенное употребление тем, что переносит на нарушителя чародейственную силу, все же остается полностью и исключительно объективным страхом. Страх этот еще не распался на обе формы, какие он принимает на более развитой ступени: на благоговение и на отвращение.

Но каким образом создается такое разделение? По Вундту – благодаря перенесению запрещений табу из области демонов в область представлений о богах. Противоположность святого и нечистого совпадает с последовательностью двух мифологических ступеней, из которых прежняя не совсем исчезла к тому времени, когда достигнута следующая, а продолжает существовать в форме более низкой оценки, к которой постепенно примешивается презрение. В мифологии имеет место общий закон, что предыдущая ступень именно потому, что она преодолена и оттеснена более высокой, сохраняется наряду с ней в униженной форме, так что объекты ее почитания превращаются в объекты отвращения. Дальнейшее рассуждение Вундта касается отношения представлений табу к очищению и к жертве.

## 2

Всякий, кто подходит к проблеме табу со стороны психоанализа, т. е. исследования бессознательной части индивидуальной душевной жизни, тот после недолгого размышления скажет себе, что эти феномены ему не чужды. Ему известны люди, создавшие себе индивидуальные запрещения табу и так же строго их соблюдающие, как дикари соблюдают общие у всего их племени или общества запреты. Если бы он не привык называть этих индивидов «страдающими навязчивостью», то считал бы подходящим для их состояния название «болезнь табу». Об этой болезни навязчивости он, однако, благодаря психоаналитическому лечению узнал клиническую этиологию и сущность психологического механизма и не может отказаться от того, чтобы не использовать всего открытого в этой области для объяснения соответствующих явлений в психологии народов.

Предупредим, однако, что и при этой попытке не следует упускать из виду, что сходство табу с болезнью навязчивости может быть чисто внешним, относиться к форме обоих явлений и не распространяться дальше на их сущность. Природа любит пользоваться одинаковыми формами при самых различных биологических соотношениях, как, например, в разветвлениях коралла, как и в растениях и затем в известных кристаллах или при образовании известных химических осадков. Было бы слишком поспешным и малообещающим обосновывать выводы, относящиеся к внутреннему сродству, таким внешним сходством, вытекающим из общности механических условий. Мы не забудем этого предупреждения, но нам незачем отказываться из-за такой возможности от нашего намерения воспользоваться сравнением.

Самое близкое и бросающееся в глаза сходство навязчивых запретов (у нервных больных) с табу состоит в том, что эти запрещения также не мотивированы и происхождение их загадочно. Они возникли каким-то образом и должны соблюдаться вследствие непреодолимого страха. Внешняя угроза наказанием излишня, потому что имеется внутренняя уверенность (совесть), что нарушение приведет к невыносимому бедствию. Самое большее, о чем могут сказать больные, страдающие навязчивостью, – это о неопределенном чувстве, что благодаря нарушению запрета пострадает какое-нибудь лицо из окружающих. Какого рода будет вред, остается неизвестным, да и эти незначительные сведения получаешь скорее при искупительных и предохранительных действиях, о которых будет речь дальше, чем при самых запрещениях.

Главным и основным запрещением невроза является, как и при табу, прикосновение, отсюда и название: боязнь прикосновения – *delire de toucher*. Запрещение распространяется не только на непосредственное прикосновение телом, но обнимает и всякое прикосновение хотя бы в переносном смысле слова. Все, что направляет мысль на запретное, вызывает мыслен-

ное соприкосновение, так же запрещено, как непосредственный физический контакт. Такое же расширение понятия имеется у табу.

Часть запретов сама собой понятна по своим целям, другая, напротив, кажется непонятной, нелепой, бессмысленной. Такие запрещения мы называем «церемониалом» и находим, что такое же различие проявляют и обычаи табу.

Навязчивым запретам свойственна огромная подвижность, они распространяются какими угодно путями с одного объекта на другой и делают этот новый объект, по удачному выражению одной моей больной, «невозможным». Такая «невозможность», в конце концов, охватывает весь мир. Больные навязчивостью ведут себя так, как будто бы «невозможные» люди и вещи были носителями опасной заразы, способной распространиться посредством контакта на все, находящееся по соседству. Те же признаки способности к заразе и к перенесению мы подчеркнули вначале при описании запретов табу. Мы знаем также, что кто нарушил табу прикосновением к чему-нибудь, что есть табу, сам становится табу, и никому не следует приходить с ним в соприкосновение.

Приведу два примера перенесения, правильное сдвига запретов. Один из жизни Maori, другой – из моего наблюдения над женщиной, страдающей навязчивостью.

«Вождь Maori не станет раздувать огня своим дыханием, потому что его священное дыхание передало бы его священную силу огню, огонь – горшку, стоящему в огне, горшок – пище, готовящейся в нем, пища – лицу, которое ее съест, и таким образом должно было бы умереть это лицо, съевшее пищу, варившуюся в горшке, стоявшем в огне, который раздувал вождь своим священным дыханием» (Фразер).

Пациентка требует, чтобы предмет домашнего обихода, купленный мужем и принесенный домой, был удален: иначе он сделает «невозможным» помещение, в котором она живет, так как она слышала, что этот предмет куплен в лавке, которая находится, скажем, в Оленьей улице. Но теперь фамилию «Олень» носит ее подруга, которая живет в другом городе и которую она в молодости знала под девичьей фамилией. Эта подруга теперь для нее «невозможна» – табу, и купленный здесь, в Вене, предмет – тоже табу, как и сама подруга, с которой она не хочет иметь никакого соприкосновения.

Навязчивые запрещения приводят к очень серьезному воздержанию и ограничениям в жизни, подобно запретам табу. Но часть этих навязчивых идей может быть преодолена благодаря выполнению определенных действий, которые необходимо совершить, они имеют навязчивый характер – навязчивые действия, – и которые, вне всякого сомнения, по природе своей представляют собой покаяние, искупление, меры защиты и очищения. Самым распространенным из этих навязчивых действий является омовение водой (навязчивые умывания). Часть запретов табу может быть также заменена, или нарушение их может быть искуплено подобным «церемониалом», и омовение водой пользуется особым предпочтением.

Резюмируем, в каких пунктах выражается ярче всего сходство обычаев табу с симптомами невроза навязчивости: 1) в немотивированности запретов, 2) в их утверждении благодаря внутреннему принуждению, 3) в их способности к сдвигу и в опасности заразы, исходящей из запрещенного, 4) в том, что они становятся причиной церемониальных действий и заповедей, вытекающих из запретов.

Клиническая история и психический механизм болезни навязчивости стали нам, однако, известны благодаря психоанализу. История болезни в типичном случае страха прикосновения гласит: в самом начале, в самом раннем детстве проявляется сильное чувство наслаждения от прикосновения, цель которого гораздо более специфична, чем можно было бы ожидать. Этому наслаждению скоро противопоставляется извне запрещение совершать именно это прикосновение<sup>5</sup>. Запрещение было усвоено, потому что нашло опору в больших внутренних силах<sup>6</sup>, оно

---

<sup>5</sup> Оба – и наслаждение, и запрещение – относились к собственным гениталиям.



оказалось сильнее, чем влечение, стремившееся выразиться в прикосновении. Но вследствие примитивной психической конституции ребенка запрещению не удалось уничтожить влечения. Следствием запрещения было только то, что влечение – наслаждение от прикосновения – подверглось вытеснению и перешло в бессознательное. Сохранились и запрещения и влечения; влечение – потому что оно было только вытеснено, а не уничтожено, запрещение – потому что, с исчезновением его, влечение проникло бы в сознание и осуществилось бы. Имело место незаконченное положение, создавалась психическая фиксация, и из постоянного конфликта между запрещением и влечением вытекает все остальное.

Основной характер психологической констелляции, зафиксированной таким образом, заключается в том, что можно было бы назвать амбивалентным отношением индивида к объекту, или, вернее, к определенному действию<sup>6</sup>. Он постоянно желает повторять это действие, прикосновение, видит в нем высшее наслаждение, но не смеет его совершить и страшится его. Противоположность обоих течений невозможно примирить прямым путем, потому что они – только это мы и можем сказать – так локализируются в душевной жизни, что не могут прийти в непосредственное столкновение. Запрещение ясно сознается, постоянное наслаждение от прикосновения – бессознательно, сам больной о нем ничего не знает. Не будь этого психологического момента, амбивалентность не могла бы так долго длиться и привести к таким последствиям.

В клинической истории случая мы придали решающее значение вмешательству запрещения в таком раннем детстве; в дальнейшем формировании эта роль выпадает на долю механизма вытеснения в детском возрасте. Вследствие имевшего место вытеснения, связанного с забыванием – амнезией, мотивировка ставшего сознательным запрещения остается неизвестной, и все попытки интеллектуально разбить запрещение терпят неудачу, так как не находят точки, на которую они должны быть направлены. Запрещение обязано своей силой, своим навязчивым характером именно его отношению к своей бессознательной противоположности, к незаглушенному в скрытом состоянии наслаждению, т. е. в внутренней необходимости, недоступной осознанию. Способность запрещения переноситься и развиваться дальше отражает процесс, допускаемый бессознательным наслаждением и особенно облегченный благодаря психологическим условиям бессознательного. Удовлетворение влечения постоянно переносится с одного объекта на другой, чтобы избежать изоляции, за которой находится, и старается вместо запрещенного найти суррогаты, заменяющие объекты и заменяющие действия. Поэтому и запрещение меняет свое положение и распространяется на новые цели запрещенного душевного движения. На каждую новую попытку вытесненного либидо прорваться запрещение отвечает новыми строгостями. Задержка, происходящая от борьбы обеих противоположных сил, рождает потребность в выходе, в уменьшении господствующего в душе напряжения, в котором можно видеть мотивировку навязчивых действий. В неврозе последние являются явными компромиссными действиями, с одной точки зрения, доказательствами раскаяния, проявлениями искупления и т. п., а с другой – одновременно заменяющими действиями, вознаграждающими влечение за запрещенное. Закон невротического заболевания требует, чтобы эти навязчивые действия все больше шли навстречу влечению и приближались к первоначально запрещенному действию.

Сделаем теперь попытку отнестись к табу так, как будто бы по природе своей оно было тем же самым, что и навязчивые запрещения наших больных. При этом нам с самого начала ясно, что многие из наблюдаемых нами запретов табу представляют собой вторичные явления, образовавшиеся в результате сдвига и искажения, и что мы должны быть довольны, если нам удастся пролить некоторый свет на самые первоначальные и самые значительные запреще-

<sup>6</sup> В отношениях к любимым лицам, от которых исходило запрещение.

<sup>7</sup> Согласно удачному выражению Блейера.

ния табу. Далее ясно, что различия в положении дикаря и невротика достаточно значительны, чтобы исключить полное совпадение и не допустить перенесения с одного на другой, достигающего до точного копирования во всех пунктах.

Прежде всего мы сказали бы, что нет никакого смысла расспрашивать дикарей о действительной мотивировке их запрещений и о действительном происхождении табу. Мы предполагаем, что они ничего не могут об этом рассказать, потому что эта мотивировка у них «бессознательна». Но мы сконструируем историю табу по образцу навязчивых запрещений следующим образом. Табу представляет собой очень древние запреты, когда-то извне наложенные на поколение примитивных людей, т. е. насильственно навязанные этому поколению предыдущим. Эти запреты касались деятельности, к которой имелаась большая склонность. Они сохранились от поколения к поколению, может быть только вследствие традиции, благодаря родительскому и общественному авторитету, но возможно, что они уже «организовались» у будущих поколений, как часть унаследованного психического богатства. Кто мог бы ответить на вопрос, существуют ли именно в этом случае, о котором у нас идет речь, такие «врожденные» идеи и привели ли они к фиксации табу сами по себе или в связи с воспитанием? Но из того факта, что табу удержалось, следует одно: что первоначальное наслаждение от совершения этого запрещенного существует еще у народов, придерживающихся табу. У них имеется амбивалентная направленность по отношению к их запретам табу; в бессознательном им больше всего хотелось нарушить их, но они в то же время боятся этого; они потому именно боятся, что желают этого, и страх у них сильнее, чем наслаждение. Желание же у каждого представителя этого народа бессознательно, как и у невротика.

Самые старые и важные запреты табу составляют оба основных закона тотемизма: не убивать животного тотема и избегать полового общения с товарищем по тотему другого пола.

Оба, вероятно, представляют собой самые древние и самые сильные соблазны людей. Мы этого понять не можем и не можем поэтому исследовать правильность наших предположений на этих примерах до тех пор, пока нам совершенно неизвестен смысл и происхождение тотемистической системы. Но кому известны результаты психоаналитического исследования отдельного человека, тому уже сам текст этих обоих табу и их совпадение напомним то, что психоаналитики считают центральным пунктом инфантильных желаний и ядром неврозов.

Обычное разнообразие явлений табу, приведшее к сообщенным прежде попыткам классификации, таким образом, сливается для нас в единство: основание табу составляет запрещенное действие, к совершению которого в бессознательном имеется сильная склонность.

Мы знаем, не понимая того, что всякий, совершивший запрещенное, нарушивший табу, сам становится табу. Как же привести нам в связь этот факт с другими, а именно что табу связано не только с лицами, совершившими запрещенное, но также и с лицами, находящимися в особых состояниях, с самыми этими состояниями и с никому не принадлежащими вещами? Что это может быть за опасное свойство, остающееся неизменным при всех этих различных условиях? Только одно: способность раздражить амбивалентность человека и будить в нем искушение преступить запрет.

Человек, нарушивший табу, сам становится табу, потому что приобрел опасное свойство вводить других в искушение следовать его примеру. Он будит зависть: почему ему должно быть позволено то, что запрещено другим? Он действительно заразителен, поскольку всякий пример заражает желанием подражать; поэтому необходимо избегать и его самого.

Но человеку не надо и нарушать табу, для того чтобы самому стать временно или постоянно табу, если только он находится в состоянии, способном будить запретные желания у других, вызывать в них амбивалентный конфликт. Большинство исключительных положений относится к такому состоянию и обладает этой опасной силой. Король или вождь будет завидовать своими преимуществами. Может быть, всякий хотел бы быть королем? Мертвец, новорожденный, женщины в своем болезненном состоянии соблазняют особой беспомощностью;

только что созревший в половом отношении индивид – новыми наслаждениями, которые он обещает. Поэтому все эти лица и все эти состояния составляют табу, потому что не следует поддаваться искушению.

Теперь мы также понимаем, почему силы «Мапа» различных лиц взаимно уменьшают одна другую, частично уничтожают. Табу короля слишком сильно для его подданного, потому что социальное различие между ними слишком велико. Но министр может стать между ними безвредным посредником. В переводе с языка табу на нормальную психологию это значит: подданный, который боится громадного искушения, которое представляет для него соприкосновение с королем, может перенести общение с чиновником, которому ему незачем уж так завидовать и положение которого ему самому кажется достижимым. Министр же может умерить свою зависть к королю, принимая во внимание ту власть, которая предоставлена ему самому. Таким образом, менее значительные различия вводящей в искушение чародейственной силы вызывают меньше опасения, чем особенно большие различия.

Ясно также, каким образом нарушение известных запретов табу представляет опасность и почему все члены общества должны наказать или искупить это нарушение, чтобы не пострадать самим. Эта опасность действительно имеется, если мы заменим сознательные душевные движения бессознательными желаниями. Она заключается в возможности подражания, которое привело бы к распаду общества. Если бы другие не наказывали за преступление, то они должны были бы открыть в самих себе то же желание, что и у преступников.

Нечего удивляться, что прикосновение при запрете табу играет ту же роль, что и при *delire de toucher*<sup>8</sup>, хотя тайный смысл запрета при табу не может иметь такое специальное содержание, как при неврозе. Прикосновение обозначает начало всякого обладания, всякой попытки подчинить себе человека или предмет. Заразительную силу, присущую табу, мы объяснили способностью его вводить в искушение, побуждать к подражанию. С этим как будто не вяжется то, что способность табу к заражению выражается прежде всего в том, что оно переносится на предметы, которые благодаря этому сами становятся носителями табу.

Способность табу к перенесению отражает доказанную при неврозах склонность бессознательного влечения передвигаться ассоциативным путем на все новые объекты. Таким образом наше внимание обращается на то, что опасной чародейственной силе «Мапа» соответствуют две реальные способности: способность напоминать человеку о его запретных желаниях и как будто более значительная способность соблазнять его к нарушению запрета в пользу этих желаний. Обе способности сливаются, однако, в одну, если мы допустим, что было бы в духе примитивной душевной жизни, если бы пробуждение воспоминания о запретном действии было связано с пробуждением тенденции к выполнению его. В таком случае воспоминание и искушение снова совпадают. Нужно также согласиться с тем, что если пример человека, нарушившего табу, соблазнил другого к такому же поступку, то непослушание распространилось, как зараза, подобно тому, как табу переносится с человека на предмет и с одного предмета на другой. Если нарушение табу может быть исправлено покаянием или искуплением, означаящим, в сущности, отказ от какого-либо блага или свободы, то этим доказывается, что выполнение предписаний табу само было отказом от чего-то, что было очень желательно. Невыполнение одного отказа заменяется отказом в другой области. В отношении церемониала табу мы сделали бы отсюда вывод, что раскаяние является чем-то более первичным, чем очищение.

Резюмируем, какое понимание табу явилось у нас в результате уподобления его навязчивому запрету невротика: табу является очень древним запретом, наложенным извне (каким-нибудь авторитетом) и направленным против сильнейших вожеланий людей. Сильное желание нарушить его остается в их бессознательном. Люди, выполняющие табу, имеют амбивалентную направленность к тому, что подлечит табу. Приписываемая табу чародейственная

---

<sup>8</sup> Непреодолимое желание дотронуться до чего-либо.

сила сводится к способности вводить в искушение; она похожа на заразу, потому что пример заразителен и потому что запрещенное вожделение в бессознательном переносится на другое. Искушение посредством воздержания за нарушение табу доказывает, что в основе соблюдения табу лежит воздержание.

### 3

Нам желательно теперь узнать ценность нашего уподобления табу неврозу навязчивости и сложившегося на основании этого уподобления понимания табу. Оно ценно только в том случае, если наше понимание имеет преимущества, которых в противном случае нет, если оно ведет к лучшему пониманию табу, чем то, которое доступно нам без него. Быть может, мы решимся утверждать, что мы уже в предыдущем привели доказательства выгоды такого уподобления; но нам нужно попробовать усилить его, продолжая объяснения обычаев и запретов табу во всех деталях.

Однако нам открыт также и другой путь. Мы можем исследовать, нельзя ли непосредственно на феномене табу доказать часть предположений, которые мы перенесли с невроза на табу, или выводов, к которым мы при этом пришли. Нам необходимо только решить, что нам следует искать. Утверждение о возникновении табу, что оно происходит от очень древнего запрещения, наложенного когда-то извне, не поддается, разумеется, доказательствам. Постараемся поэтому найти для табу подтверждение психологических условий, известных нам в неврозе навязчивости. Каким образом при неврозе мы узнаем об этих психологических моментах? Благодаря аналитическому изучению симптомов особенно навязчивых действий, мероприятий отражения и навязчивых запрещений. У них мы нашли самые верные признаки их происхождения из амбивалентных душевных движений или тенденций, причем они или соответствуют одновременно как одному желанию, так и противоположному ему, или служат преимущественно одной из двух противоположных тенденций. Если бы нам удалось доказать амбивалентность, существование противоположных тенденций в предписаниях табу, или найти среди них некоторые, подобно навязчивым действиям выражающие одновременно оба течения, то психологическое сходство табу и невроза навязчивости в самом почти главном было бы несомненным.

Оба основных запрещения табу, как упомянуто, недоступны нашему анализу благодаря принадлежности их к тотемизму; другая часть положений табу – вторичного происхождения и не может быть использована в наших целях. Ведь табу стало у соответствующих народов общей формой законодательства и служит, несомненно, более молодым социальным тенденциям, чем само табу, как, например, табу, наложенное вождями или священниками для обеспечения своей собственности и преимуществ. Все же у нас остается большая группа предписаний, которые могут послужить материалом для нашего исследования; из этой группы я беру табу, связанные с: а) врагами, б) вождями, с) покойниками, – и воспользуюсь для своей работы материалом из замечательного сборника Д. Д. Фрэзера, и из его большого сочинения «The golden bough».

#### а) Обращение с врагами.

Если мы проявили склонность приписывать диким народам безудержную и безжалостную жестокость по отношению к врагам, то с большим интересом узнаем, что и у них после убийства человека требуется выполнить ряд предписаний, относящихся к обычаям табу. Эти предписания легко разделить на четыре группы; они требуют: во-первых, примирения с убитым, во-вторых, самоограничений, в-третьих, покаянных действий, очищения убийцы и, в-четвертых, совершения известного церемониала. Насколько такие обычаи табу у этих народов общи или выполняются только в отдельных случаях, нельзя уверенно решить, с одной

стороны, вследствие неполноты наших сведений, а с другой стороны, это совершенно безразлично, поскольку нас интересуют эти факты сами по себе. Все же нужно думать, что здесь речь идет о широко распространенных обычаях, а не об отдельных странностях.

Обычаи примирения на Тиморских островах, по возвращении домой победоносного военного отряда с отрубленными головами побежденных врагов, представляют особый интерес, потому что вождь экспедиции подвергается сверх того еще тяжким ограничениям (см. ниже). При торжественном вступлении победителей приносятся жертвы, дабы умиловить души врагов; в противном случае пришлось бы бояться несчастий для победителей. Устраивается танец, и при этом поются песни, в которых оплакивается убитый враг и испрашивается у него прощение... «Не сердись на нас за то, что у нас здесь находится твоя голова; если бы счастье не улыбнулось нам, то наши головы теперь висели бы в твоей деревне. Мы принесли тебе жертву, дабы умиловить тебя; теперь твой дух может удовлетвориться и оставить нас в покое. Почему ты был нашим врагом? Не лучше ли нам быть друзьями? Тогда не пролилась бы твоя кровь и не отрубили бы тебе голову».

Нечто подобное встречается у Палу на Целебесе; Гала приносят жертвы духам врагов прежде, нежели возвратятся в родную деревню.

Другие народы нашли средство превращать своих прежних врагов после их смерти в друзей, стражей и защитников. Средство это состоит в нежном обращении с отрубленными головами, как этим хвалятся некоторые дикие народы в Борнео. Если Даяку и Саравака приносят с похода домой голову, то в течение целого месяца с этой головой обращаются с самой изысканной любезностью и называют ее самыми нежными именами, какие только существуют в их языке. Ей всовываются в рот лучшие куски пищи, лакомства и сигары. Ее постоянно упрашивают ненавидеть своих прежних друзей и подарить свою любовь своим новым хозяевам, так как теперь она уже вошла в их среду. Было бы большой ошибкой приписывать известную долю насмешки этому, кающемуся нам отвратительным обращению.

У многих диких племен Северной Америки наблюдателям бросился в глаза траур по убитому и скальпированному врагу. Если Чокту убивает врага, то для него наступает месячный траур, во время которого он подвергается тяжелым ограничениям. Такой же траур наступает у индейцев Дакота. Если Осаги, замечает один писатель, оплакивали своих собственных покойников, то они оплакивали врага, как будто он был их другом.

Прежде чем привести другие группы обычаев табу, касающихся обращения с врагом, мы должны выяснить наше отношение к возражению, которое напрашивается само собой. Мотивировка этих предписаний примирения – возразят нам вместе с Фрэзером – довольно проста и не имеет ничего общего с «амбивалентностью». Эти народы находятся во власти суеверного страха перед духом убитых – страха, не чуждого классической древности, выведенного британским драматургом на сцену в галлюцинациях Макбета и Ричарда III. Это суеверие вполне последовательно приводит ко всем предписаниям примирения, как и к ограничениям и раскаянию, о которых речь будет дальше. В пользу такого понимания говорит еще соединенный в четвертую группу церемониал, не допускающий никакого другого толкования, кроме старания прогнать духов убитого, преследующего убийцу.

Наконец, дикари прямо сознаются в своем страхе перед духами убитых врагов и объясняют этим страхом обычаи табу, о которых идет речь.

Это объяснение действительно очень правдоподобно, и если бы оно было в такой же мере достаточно, то все наши попытки объяснять были бы излишни. Подробные суждения по этому поводу мы откладываем до другого раза и ограничиваемся пока указанием на взгляд, вытекающий из наших предположений в связи с вышеизложенным о табу. Из всех этих предписаний мы заключаем, что в поведении по отношению к врагу проявляются не только враждебные, но и какие-то другие моменты. Мы видим в них выражение раскаяния, высокой оценки врага и угрызение совести за то, что лишили его жизни. Нам кажется, будто и среди этих дикарей

живет заповедь «не убий», которую еще задолго до какого бы то ни было законодательства, полученного из рук божества, нельзя безнаказанно нарушать.

Вернемся к другим группам предписаний табу. Ограничения победоносного убийцы встречаются нередко и носят большей частью строгий характер. На Тиморских островах (ср. приведенные выше обычаи примирения) вождь экспедиции не может непосредственно вернуться домой. Для него строится особая хижина, в которой он проводит два месяца, занятый выполнением различных предписаний очищения. В течение этого времени ему нельзя видеть своей жены, нельзя есть самому, другое лицо кладет ему пищу в рот. У некоторых племен Даяк вернувшиеся из победоносного похода принуждены в течение нескольких дней оставаться изолированными и воздерживаться от определенной пищи; им нельзя прикасаться к железу и к женам. На Логеа, острове возле Новой Гвинеи, мужчины, убившие или принимавшие участие в убийстве врагов, в течение недели скрываются в своих домах. Они избегают всякого общения со своими женами и друзьями, не прикасаются руками к пище и питаются только растительной пищей, приготовленной для них в особой посуде. Как на причину этих последних ограничений указывается на то, что им нельзя чувствовать запаха крови убитого; в противном случае они могли бы заболеть и умереть. У племени Тоарипи или Мотумоту на Новой Гвинее мужчина, убивший кого-нибудь, не смеет приближаться к своей жене и прикасаться пальцами к пище. Его кормят посторонние и особой пищей. Так это длится до ближайшего новолуния.

У Моннумбо в германской Новой Гвинее всякий убивший в бою врага становится «нечистым», для чего пользуются тем же словом, что и для женщины во время менструации и во время родов. В течение долгого времени он не должен оставлять лагерь мужчин, и в то же время жители его деревни собираются вокруг него и празднуют его победу пляской и песнями. Он не смеет ни к кому прикасаться, не исключая даже жены и детей; если бы он это сделал, то они покрылись бы язвами. Он становится чистым благодаря омовению и церемониалу.

У Начез в Северной Америке молодые воины, снявшие первый скальп, должны были в течение шести месяцев подвергаться известным лишениям. Им нельзя было спать со своими женами и есть мясо, и они получали в пищу рыбу и маисовый пудинг. Если Чокту убивает и скальпирует врага, то у него наступает месячный траур, в течение которого он не смеет расчесывать свои волосы. Если у него чешется голова, то он не смеет чесать рукой, а только маленькой палочкой.

Если индеец Пима убивал Апача, то он принужден был подвергнуться тяжелым и искупительным церемониям. В течение шестнадцатидневного поста ему нельзя было прикасаться к мясу и соли, смотреть на горящий огонь и с кем бы то ни было разговаривать. Он жил в лесу один, пользуясь услугами старой женщины, приносившей ему скудную пищу. Часто купался в ближайшей реке и – в знак траура – носил на голове комок глины. На семнадцатый день имел место при свидетелях церемониал торжественного очищения воина и его оружия. Так как индейцы Пима принимали гораздо более всерьез табу убийцы, чем их враги, и не откладывали искупления и очищения, как те, до окончания похода, то их боевая способность сильно страдала, если хотите, от их нравственной строгости или благочестия. Несмотря на их необыкновенную храбрость, они оказались для американцев неудовлетворительными союзниками в их борьбе с Апачами.

Как ни интересны подробности и вариации церемониалов искуплений и очищений после убийства врага и как они ни заслуживают более глубокого исследования, я все же прекращаю их описание, потому что они нам не могут открыть новых точек зрения; пожалуй, я еще укажу, что временная или постоянная изоляция профессионального палача, сохранившаяся и до нашего времени, относится к этому же разряду явлений. Положение Фреймана в обществе Средних веков действительно дает хорошее представление о табу дикарей.

В обычном объяснении предписаний примирения, ограничения, искупления и очищения комбинируются друг с другом два принципа. Перенесение табу с мертвеца на все то, что

приходит с ним в соприкосновение, и страх перед духом убитого. Как скомбинировать эти два момента для объяснения церемониала? Следует ли придавать обоим одинаковое значение? Не является ли один из них первичным, а другой вторичным моментом и какой именно – об этом не говорится, да и нелегко это выяснить. В противовес этому объяснению мы подчеркиваем единство нашего понимания, если объясняем все эти предписания амбивалентностью чувств по отношению к врагу.

б) Табу властителей.

Отношение примитивных народов к вождям, королям и священникам руководствуется двумя основными принципами, которые как будто скорее дополняют, чем противоречат друг другу. Нужно их бояться и оберегать их. И то, и другое совершается при помощи бесконечного числа предписаний табу. Нам уже известно, почему нужно остерегаться властителей: потому что они являются носителями таинственной чародейственной и опасной силы, передающейся через прикосновение, подобно электрическому заряду, и приносящей смерть и гибель всякому, кто не защищен подобным же зарядом. Поэтому следует избегать всякого посредственного и непосредственного соприкосновения с опасной святыней, и в тех случаях, где этого нельзя избежать, найден был церемониал, чтобы предупредить опасные последствия.

Нубийцы в Восточной Африке думают, например, что они умрут, если войдут в дом священника-короля, но что они избегнут этой опасности, если при входе обнажат левое плечо и склонят короля прикоснуться к ним рукой. Таким образом, перед нами тот замечательный факт, что прикосновение короля становится целебным и защитным средством против опасности, вытекающей из прикосновения к королю; но тут дело идет о целебной силе преднамеренного, совершенного по инициативе короля прикосновения, в противоположность опасности, связанной с прикосновением к нему, – о противоположности между активностью и пассивностью по отношению к королю.

Если речь идет о целебном действии прикосновения, то нам незачем искать примера у дикарей. Еще недалеко то время, когда короли Англии проявляли такое же воздействие на скрофулез, носивший поэтому название «The Kings Evil». Королева Елизавета в такой же степени не отказывалась от этой части своих королевских прерогатив, как и любой из ее наследников. Карл I будто бы излечил в одну поездку 1633 больных. Во время царствования его распутного сына Карла II, после победы над великой английской революцией, исцеление королем скрофулеза достигло высшего расцвета.

Этот король за период своего царствования прикоснулся приблизительно к 100 000 скрофулезных. Наплыв жаждущих исцеления в таких случаях бывал так велик, что однажды шестеро или семеро из них вместо исцеления умерли, раздавленные в толпе. Скептик из Оранской семьи Вильгельм III, ставши королем Англии после изгнания Стюартов, отказался от такого чародейства; единственный раз, когда он снизошел до этого, он это сделал со словами: «Дай вам бог лучшего здоровья и больше разума».

Следующее свидетельство может служить доказательством страшного действия прикосновения, при котором, хотя бы и непреднамеренно, проявляется активность, направленная против короля или того, что ему принадлежит. Вождь высокого положения и большей святости на Новой Зеландии забыл однажды на пути остатки своего обеда. Тут пришел раб, молодой, крепкий, голодный парень, увидел оставленное и набросился на обед, чтобы съесть его. Едва только он кончил еду, как видевший это с ужасом сказал ему, что он совершил покушение на обед вождя. Раб был крепким и мужественным воином, но, услышав это сообщение, он упал, с ним сделались ужасные судороги, и к вечеру следующего дня он умер. Женщина маори поела каких-то плодов и затем узнала, что они взяты с места, на которое наложено табу. Она громко вскрикнула, что дух вождя, которого она таким образом оскорбила, наверное, убьет ее. Это произошло около полудня, а к двенадцати часам следующего дня она была уже мертвой.

Зажигалка вождя маори погубила однажды несколько человек. Вождь потерял ее, другие ее нашли и пользовались ею, чтобы закуривать свои трубки. Когда они узнали, кому принадлежит зажигалка, они умерли от страха.

Нечему удивляться, что явилась потребность изолировать от других таких опасных лиц, как вождей и священников, воздвигнуть вокруг них стену, за которой они были бы недоступны для других. У нас может зародиться мысль, что эта воздвигнутая первоначально из предписаний табу стена существует еще и теперь в форме придворного церемониала.

Но, может быть, большая часть этого табу властелинов не объясняется потребностью защиты от них. Противоположная точка зрения в обращении с привилегированными лицами, потребность защиты их самих от окружающей их опасности принимала явное участие в создании табу, а следовательно, и в развитии придворного этикета.

Необходимость защиты короля от всевозможных опасностей объясняется его огромным значением для блага его подданных. Строго говоря, его личность направляет течение мирового бытия; народ не только должен его благодарить за дождь и солнечный свет, выращивающие плоды земли, но и за ветер, пригоняющий корабли к берегу, и за твердую почву, по которой ступают подданные.

Эти короли дикарей наделены могуществом и способностью делать счастливыми, свойственной только богам, – в чем на более поздних ступенях цивилизации льстиво уверяют их только самые большие низкопоклонники из придворных.

Кажется явным противоречием, что лица, обладающие таким совершенством власти, сами требуют величайшей заботливости, чтобы уберечь их от окружающей опасности; но это не единственное противоречие, проявляющееся в обращении с королевскими лицами у дикарей. Эти народы считают необходимым следить за своими королями, чтобы те правильно пользовались своими силами; они несколько не уверены в их добром намерении и их совестливости. К мотивировке предписаний табу для короля примешивается черта недоверия. «Мысль, что доисторическое королевство основано на деспотизме, – говорит Фрэзер, – благодаря которому народ существует только для его властелинов, никоим образом не применима к монархиям, которые мы тут имели в виду. Напротив, в них властелин живет только для своих подданных; его жизнь имеет цену только до тех пор, пока он выполняет обязанности, связанные с его должностью, направляя течение явлений природы на благо своих подданных. Как только он перестает это делать или оказывается непригодным, заботливость, преданность и религиозное почитание, предметом которых он до того был в самой безграничной мере, превращаются в ненависть и презрение. Он с позором изгоняется и может быть доволен, если сохранил жизнь. Может случиться, что сегодня его еще обожают, как бога, а завтра его убивают, как преступника. Но у нас нет права осуждать такое изменчивое поведение народа, как непостоянство или противоречие. Народ остается, безусловно, последовательным. Если, по их мнению, их король – их бог, то он должен также быть и их защитником; и если он не хочет их защищать, то пусть уступит место другому, более услужливому. Но пока он соответствует их ожиданиям, заботливость о нем не знает границ, и они заставляют его относиться к самому себе с такой же предусмотрительностью. Такой король живет, ограниченный системой церемоний и этикетов, запутанный в сеть обычаев и запрещений, цель которых никоим образом не состоит в том, чтобы возвысить его достоинство, и еще менее в том, чтобы увеличить его благополучие; во всем этом сказывается единственно только намерение удержать его от таких шагов, которые могли бы нарушить гармонию природы и вместе с тем погубить его самого, его народ и всю вселенную; эти предписания, далеко не способствующие его благополучию, вмешиваются в каждый его поступок, уничтожают его свободу и делают его жизнь, которую они будто бы должны охранять, тягостной и мучительной».

Одним из самых ярких примеров такого сковывания святого властелина церемониалом табу является образ жизни японского микадо в прошлых столетиях. В одном описании, кото-



рому свыше двухсот лет, сообщается: «Микадо думает, что прикоснуться ногами к земле не соответствует его достоинству и святости; если он хочет куда-нибудь пойти, то его должен кто-нибудь нести на плечах. Но еще менее ему пристойно выставить свою святую личность на открытый воздух, и солнце не удостаивается чести сиять над его головой. Каждой части его тела приписывается такая святость, что ни его волосы на голове, ни его борода не могут быть острижены, а ногти не могут быть срезаны. Но чтобы он не был очень грязным, его моют по ночам, когда он спит; говорят, что то, что удаляют с его тела в таком состоянии сна, можно понимать только как кражу, а такого рода кража не умаляет его достоинства и святости. Еще в более древние времена он должен был каждое утро в течение нескольких часов сидеть на троне с царской короной на голове, но сидеть он должен был как статуя, не двигая руками, ногами, головой или глазами; только таким образом, по их верованиям, он может удержать мир и спокойствие в царстве. Если он, к несчастью, повернется в ту или другую сторону или в течение некоторого времени обратит свой взор только на часть царства, то наступят война, голод, пожары, чума или какое-нибудь другое большое бедствие и опустошат страну».

Некоторые из табу, которым подвержены короли у варваров, живо напоминают меры пресечения против разбойников. В Шарк Поинт в Нижней Гвинее (Западная Африка) живет король-священник Кукулу один в лесу. Он не смеет прикасаться к женщине, не смеет оставлять своего дома, ни даже вставать со своего стула, в котором обязан спать сидя. Если бы он лег, то ветер стих бы и мореплавание приостановилось бы. На его обязанности лежит сдерживать бури и вообще заботиться о равномерном здоровом состоянии атмосферы. Чем могущественнее король Лоанго, говорит Бастиан, тем больше он должен соблюдать табу. И наследник престола с детства связан ими, но они множатся по мере того, как он растет; к моменту вступления на престол они его душат. Место не позволяет и наша задача не требует того, чтобы мы входили в более подробные описания табу, связанные с королевским и священническим достоинством. Укажем еще, что главную роль среди них играют ограничения свободы движения и диета. Но какое консервативное влияние оказывает связь с этими привилегированными лицами на древние обычаи, можно убедиться на двух примерах церемониала табу, взятых у цивилизованных народов, т. е. на гораздо более высокой степени культуры.

Фламен Диалис, первосвященник Юпитера в Древнем Риме, должен был соблюдать необыкновенно большое число запрещений табу. Он не должен был ездить верхом, видеть лошадей, вооруженных людей, носить цельное, ненадломленное кольцо, завязывать узлом свои одежды, прикасаться к пшеничной муке или к скисшему тесту и не смел даже по имени называть козу, собаку, сырое мясо, бобы и плющ; волосы ему мог стричь только свободный человек (не раб) бронзовым ножом, а его волосы и срезанные ногти нужно было похоронить под деревом, приносящим счастье; он не смел прикасаться к мертвецу, стоять с непокрытой головой под открытым небом и т. п. Жена его Фламиника соблюдала, кроме того, еще особые запрещения; на определенного рода лестнице она не смела подниматься выше трех ступенек; в известные праздничные дни ей нельзя было причесывать волос; кожа для ее ботинок не могла быть взята от животного, умершего естественной смертью, а только от зарезанного или принесенного в жертву; когда она слышала гром, то становилась нечистой, пока не приносила очистительных жертв.

Древние короли Ирландии были подчинены целому ряду чрезвычайно странных ограничений, от соблюдения которых ожидали всяких благ для страны, а от нарушения – всяких бедствий. Полный список этих табу помещен в Книгу правил, самые старые рукописные экземпляры которых датируются 1390 и 1418 годами. Запрещения чрезвычайно детализированы, касаются различных родов деятельности в определенных местах в определенные времена; в таком-то городе король не должен пребывать в определенные дни недели, такую-то реку он не должен переходить в известный час, на такой-то равнине не должен останавливаться лагерь полных девять дней и т. п.

Тяжесть ограничений табу для королей-священников имела у многих диких народов исторически важные и для наших взглядов особенно интересные последствия. Священническо-королевское достоинство перестало быть чем-то желанным; тот, кому оно предстояло, прибегал к всевозможным средствам, чтобы избавиться от него. Так, например, на Комбоча, где имеются король огня и король воды, часто приходится силой вынуждать наследников принять королевское достоинство. На острове Саваге, коралловом острове в Тихом океане, монархия фактически пришла к концу, потому что никто не хотел согласиться взять на себя ответственную и опасную должность. В некоторых частях Западной Африки после смерти короля составляется тайный совет, чтобы назначить преемника короля. Того, на кого падает выбор, хватают, связывают и содержат под стражей в доме фетишей до тех пор, пока он не соглашается принять корону. Иной раз предполагаемый наследник престола находит средства и пути, чтобы избавиться от предлагаемой ему чести; так рассказывают про одного военачальника, что он день и ночь не расставался с оружием, чтобы силой оказать сопротивление всякой попытке посадить его на престол. У негров в Сьерра-Леоне сопротивление против принятия королевского достоинства так велико, что большинство племен было вынуждено избирать себе королей из чужеземцев.

Этими обстоятельствами Фрэзер объясняет тот факт, что в историческом развитии, в конце концов, произошло разделение первоначального священническо-королевского достоинства на духовную и светскую власть. Подавленные бременем своей святости, короли оказались неспособными осуществлять свою власть в реальных отношениях и были вынуждены передать ее менее значительным, но дееспособным лицам, готовым отказаться от почестей королевского достоинства. Из них впоследствии образовались светские властелины, между тем как потерявший практически всякое значение духовный сан остался за прежними табу-королями. Известно, насколько эта гипотеза находит подтверждение в истории древней Японии.

Если мы рассмотрим картину отношений примитивных людей к их властелинам, то в нас пробуждается надежда, что нетрудно будет перейти от описания этой картины к психоаналитическому пониманию ее. Отношения эти по своей природе очень запутаны и не лишены противоречий. Властелинам предоставляются большие права, совершенно совпадающие с запрещениями табу для других. Они являются привилегированными особами; они могут делать то и наслаждаться тем, что благодаря табу запрещается всем остальным. В противовес этой свободе имеются для них другие ограничения табу, которые не распространяются на обыкновенных лиц. Здесь, таким образом, возникает первая противоположность, почти противоречие между большей степенью свободы и большей степенью ограничений для одного и того же лица. Им приписывают необыкновенные чародейственные силы и потому боятся прикосновения к ним или к их собственности и в то же время ждут, с другой стороны, самого благотворного действия от этих прикосновений. Это кажется вторым особенно ярким противоречием, однако нам уже известно, что оно лишь кажущееся; целебное и охраняющее действие имеет прикосновение, исходящее от самого короля с благостным намерением, а опасно только прикосновение к королю или чему-либо королевскому, вероятно, вследствие напоминания о с ним связанных агрессивных тенденциях. Другое, не так легко разрешимое противоречие состоит в том, что властелину приписывается такая большая власть над явлениями природы, и в то же самое время считается необходимым с особенной заботливостью охранять его от угрожающей ему опасности, как будто его собственное могущество, способное так много совершить, не в состоянии сделать и этого. Другое затруднение в этих взаимоотношениях состоит в том, что властелину не доверяют, что он использует свое невероятное могущество должным образом на благо подданных и для своей собственной защиты; ему не доверяют и считают себя вправе следить за ним. Этикет табу, которым подчинена жизнь короля, служат одновременно всем этим целям опеки над королем, защите его от опасностей и защите подданных от опасностей, которые им угрожают от него.

Само собой напрашивается следующее объяснение сложных и противоречивых отношений примитивных народов к их властелинам: из суеверных и других мотивов в отношениях к королям проявляются разнообразные тенденции, из которых каждая развивается до крайних пределов, не обращая внимания на другие; отсюда развиваются впоследствии противоречия, которые, впрочем, интеллект дикарей, как и народов, стоящих на высшей степени цивилизации, мало замечает, если дело идет об отношениях, касающихся религии или «лояльности».

Все это верно, но психоаналитическая техника, пожалуй, позволит проникнуть глубже в связь явлений и сказать нечто большее о природе этих разнообразных тенденций. Если мы подвергнем анализу описанное положение вещей, как если бы оно составляло картину симптомов невроза, то начнем прежде всего с чрезмерно боязливой заботливости, которой хотят объяснить церемониал табу. Такой избыток нежности – обычное явление в неврозе, особенно в неврозе навязчивости, который мы в первую очередь берем для сравнения. Происхождение этой нежности нам вполне понятно. Она возникает во всех тех случаях, где, кроме преобладающей нежности, имеется противоположное, но бессознательное течение враждебности, т. е. имеет место типичный случай амбивалентной направленности чувств.

Недоверие, кажущееся абсолютно необходимым для объяснения табу короля, является иным прямым выражением той же бессознательной враждебности. Вследствие разнообразия окончательного исхода такого конфликта у различных народов у нас не было бы недостатка в примерах, на которых нам было бы гораздо легче доказать враждебность. У Фрэзера мы узнаем, что дикие Fimmes из Sierra Leone сохранили за собой право избить выбранного ими короля в вечер накануне коронования и с такой основательностью пользуются этим конституционным правом, что несчастный властелин нередко недолго переживает момент своего возведения на трон; поэтому представители народа сделали себе правилом избирать в короли того, против кого у них имеется злоба. Все же и в этих резких случаях враждебность не проявляется как таковая, а выливается в форму церемониала.

Другой образец отношения народов к своим властелинам вызывает воспоминание о душевном процессе, широко распространенном в области невроза и явно проявляющемся в так называемом бреде преследования. Тут невероятно увеличивается значение определенного лица, его могущество чрезвычайно разрастается для того, чтобы тем легче возложить на него ответственность за все мучительное, что случается с больным. В сущности, дикари таким же образом поступают со своими королями, приписывая им власть над дождем и солнечным светом, над ветром и бурей и низвергая или убивая их, если природа не оправдала их надежд на хорошую охоту или богатую жатву. Прообразом того, что параноик конструирует в бреде преследования, являются отношения ребенка к отцу. Подобного рода всемогущество всегда приписывается отцу в представлении сына, и оказывается, что недоверие к отцу тесно связано с его высокой оценкой. Если параноик избирает кого-нибудь, с кем его связывают жизненные отношения, в «преследователи», то он вводит его тем самым в разряд лиц, соответствующих отцу, и ставит его в условия, позволяющие возложить на него ответственность за все переживаемые несчастья. Таким образом, эта вторая аналогия между дикарем и невротиком позволяет нам догадываться о том, как много в отношениях дикаря к своему властелину исходит из детской направленности ребенка к отцу.

Но самое большое основание для нашей точки зрения, проводящей параллель между запрещениями табу и невротическими симптомами, мы находим в самом церемониале табу, значение которого для положения королевского достоинства было уже описано выше. Этот церемониал явно показывает свое двусмысленное значение и свое происхождение из амбивалентных тенденций, если мы только допустим, что он с самого начала стремился к совершению производимого им действия. Он не только отличает королей и возвеличивает их над всеми обыкновенными смертными, но и превращает их жизнь в невыносимую муку и тяжесть и накладывает на них цепи рабства, гораздо более тяжелые, чем на их подданных. Он кажется

нам настоящей параллелью навязчивых действий невроза, в которых подавленное влечение и подавляющая его сила сливается в одновременном и общем удовлетворении. Навязчивое действие является, по-видимому, защитой против запрещенного действия; но мы сказали бы, что, в сущности, оно является повторением запрещенного. «По-видимому» здесь относится к сознательному, в «сущности» – к бессознательной инстанции душевной жизни. Таким же образом и церемониал табу королей, являющийся выражением их высшего почета и защиты, представляет, в сущности, наказание за их возвышение, акт мести, который совершают над ним подданные. Опыт, приобретенный Санчо Панса у Сервантеса в качестве губернатора на острове, заставил его, по-видимому, признать, что такое понимание придворного церемониала единственно соответствует истине. Весьма возможно, что нам удалось бы услышать и дальнейшие подтверждения, если бы могли заставить высказаться по этому поводу современных королей и властелинов.

Очень интересную, но выходящую за пределы этой работы проблему составляет вопрос: почему направленность чувств к власти имущим содержит такую большую примесь враждебности? Мы уже указали на инфантильный отцовский комплекс, прибавим еще, что исследование доисторического периода образования королевства должно дать нам самые исчерпывающие объяснения. Согласно данному Фрэзером освещению вопроса, оставляющему глубокое впечатление, но, по собственному его признанию, неубедительному, первые короли были чужеземцы, предназначенные после короткого периода власти к принесению в жертву, как представители божества на торжественных праздниках. И на мифах христианства отражается еще влияние этого исторического развития королевского достоинства.

### с) Табу мертвецов.

Нам известно, что мертвецы представляют собой могучих властителей; мы, может быть, с удивлением узнаем, что в них видят врагов.

Оставаясь на почве сравнения с инфекцией, мы убеждаемся, что табу мертвецов отличается особой вирулентностью у большинства примитивных народов. Это прежде всего выражается в тех последствиях, которые влечет за собой прикосновение к мертвецу, и в обращении с оплакивающими мертвеца. У маори всякий, прикасающийся к трупу или принимавший участие в погребении, становится крайне нечистым, ему почти отрезано всякое сообщение с другими людьми, он, так сказать, подвергается бойкоту. Он не смеет входить ни в один дом, не может приблизиться ни к какому человеку или предмету без того, чтобы не заразить их такими же свойствами. Больше того, он не смеет прикасаться руками к пище, и его руки благодаря своей нечистоте становятся для него негодными для употребления. Ему ставят пищу на землю, и ему ничего другого не остается, как хватать ее губами и зубами, поскольку это возможно, в то время как руки он держит за спиной. Иногда разрешается другому кормить его, но то лицо совершает это с вытянутыми руками, тщательно избегая прикосновения к несчастному; однако в таком случае и этот помощник подвергается ограничениям, не намного менее тягостным, чем его собственные. В каждой деревне имеется какое-нибудь опустившееся изгнанное из общества существо, живущее скудными подаяниями, получаемыми таким жалким образом. Только этому существу разрешается приблизиться на расстояние вытянутой руки к тому, кто выполнил последний долг перед умершим; когда время изоляции проходит и ставший нечистым, благодаря трупу, получает возможность снова войти в круг своих товарищей, то разбирается вся посуда, которой он пользовался в течение опасного времени, и сбрасывается вся одежда, в которую он был одет.

Обычай табу после телесного прикосновения к мертвецам одинаковы во всей Полинезии, Меланезии и в части Африки; постоянную часть их составляет запрещение прикасаться к пище и вытекающая из него необходимость, чтобы кормили другие. Замечательно, что в Полинезии или, может быть, только на Гавайях таким же ограничениям подвержены священники-короли

при выполнении священных действий. При табу мертвецов на Тонга ясно проявляется постепенность уменьшения запрещений благодаря собственной силе табу. Кто прикоснулся к трупам вождя, тот становится нечистым в течение десяти месяцев, но если прикоснувшийся был сам вождем, то делался нечистым в течение трех, четырех или пяти месяцев, в зависимости от ранга умершего; если же дело шло о трупе обожествляемого верховного вождя, то даже самые большие вожди становились табу на десять месяцев. Дикари глубоко верят в то, что всякий, нарушивший такие предписания табу, должен тяжело заболеть и умереть; и эта вера их так непоколебима, что, по мнению одного наблюдателя, они еще никогда не осмеливались сделать попытку убедиться на деле в противном.

По существу, однородны, но более интересны для наших целей ограничения табу тех лиц, соприкосновение которых с мертвыми нужно понимать в переносном смысле, а именно ограничения оплакивающих родственников, вдовцов и вдов. Если в упомянутых до сих пор предписаниях видеть только типичное выражение вирулентности и способности к распространению табу, то в тех предписаниях, о которых сейчас будет речь, проявляются мотивы табу и именно как мнимые, так и те, которые мы можем считать более глубокими и настоящими.

У шусвапов в Британской Колумбии вдовы и вдовцы во время траура должны жить отдельно; им нельзя прикасаться руками ни к собственному телу, ни к голове; посуду, которой они пользуются, нельзя употреблять другим; никакой охотник не приблизится к хижине, в которой живут такие лица, оплакивающие умерших, потому что это принесло бы ему несчастье; если бы на него упала тень человека, оплакивающего близкого покойника, то он заболел бы; такие лица спят на терновниках и окружают ими свое ложе. Последние мероприятия имеют целью не допустить к ним духа умершего. Еще более явный смысл имеют сообщаемые обычаи вдов у других североамериканских племен: после смерти мужа вдова носит некоторое время одежду, похожую на панталоны из сухой травы, чтобы быть недоступной попыткам духа к сближению. Таким образом, становится для нас ясно, что «сближение» в переносном смысле понимается как телесный контакт, так как дух умершего не отходит от своих родных, беспрестанно «витают вокруг них» во все время траура.

У Агутинос, живущих на одном из Филиппинских островов, вдова не смеет в течение первых семи или восьми дней после смерти мужа оставлять хижину, разве только в ночное время, когда ей нечего опасаться встреч. Кто ее видит, навлекает на себя опасность моментальной смерти, и поэтому она сама предупреждает о своем приближении, ударяя деревянной палкой по деревьям; но эти деревья засыхают. Другое наблюдение объясняет, в чем заключается опасность такой вдовы. В области Мекео Британской Новой Гвинеи вдовец лишается всех гражданских прав и некоторое время живет как изгнанный из общины. Он лишается права обрабатывать сад, открыто появляться среди других, пойти в деревню и на улицу. Он бродит, как дикий зверь, в высокой траве или кустарнике и должен спрятаться в гуще леса, если видит, что кто-нибудь приближается, особенно женщины. Благодаря последнему намеку нам нетрудно объяснить опасность, которую представляет собой вдовец, искушением. Муж, потерявший свою жену, должен избегать желания найти ей замену. Вдове приходится бороться с тем же желанием, и, кроме того, как никому не принадлежащая, она будит желания других мужчин. Всякое такое заменяющее удовлетворение противоречит смыслу траура; оно вызвало бы вспышку гнева у духа<sup>9</sup>.

Одним из самых странных и поучительных обычаев табу, касающихся оплакивания мертвеца у примитивных народов, является запрещение произносить имя умершего. Оно чрезвычайно распространено, осуществлялось различным образом и имело значительные последствия.

<sup>9</sup> Та же больная, «невозможности» которой я сравнивал выше с табу, созналась, что приходит всякий раз в отчаяние, когда встречает кого-нибудь на улице, одетого в траур. Таким людям следовало бы запретить выходить на улицу.

Кроме австралийцев и полинезийцев, сохранивших для нас в лучшем виде обычаи табу, это запрещение можно обнаружить у столь отдаленных и чуждых друг другу народов, как у самоедов в Сибири, у тода в Южной Индии, у монголов, туарегов в Сахаре, айно в Японии и акамба в Центральной Африке, тингуанов на Филиппинах и у жителей Никобарских островов, Мадагаскара и Борнео; у некоторых из этих народов запрещение и вытекающие из него следствия имеют силу только на время траура, у других они остаются на длительное время, но все же во всех случаях они слабеют по мере от момента удаления смерти.

Обыкновенно запрет произносить имя умершего выполняется очень строго. Так, у некоторых южноамериканских племен считается самым тяжелым оскорблением оставшихся в живых, если в их присутствии произнести имя умершего, и полагающееся за это наказание не менее строго, чем наказание за убийство. Нелегко понять, почему произнесение имени так пугает, тем не менее связанная с ним опасность вызвала ряд предупредительных мер, интересных и значительных во многих отношениях. Так, масаи в Африке нашли выход в том, что меняют имя умершего непосредственно после смерти; его без боязни можно называть новым именем, между тем как все запрещения связаны с прежним именем. При этом предполагается, что духу неизвестно его новое имя и он его никогда не узнает. Австралийские племена на Аделаидских островах и Энактор Бэй настолько последовательны в своих мерах предосторожности, что после чьей-нибудь смерти все лица, носившие такое же имя, как покойник, или сходное с ним, меняют свои имена. Иной раз, распространяя дальше то же соображение, после чьей-нибудь смерти меняют имена всех родственников покойника, независимо от сходства их с именем покойника, например у некоторых племен в Виктории и Севере-западной Америке. У Гайкирос в Парагвае по такому же печальному поводу вожди дают новые имена всем членам племени, которые впредь запоминаются так, как будто бы они всегда носили эти имена.

Далее, если покойник носит имя, похожее на название животного и т. д., то упомянутым народам кажется необходимым дать новое название этим животным или предметам, чтобы при употреблении этого слова не возникали воспоминания о покойнике. Благодаря этому получалось беспрестанное изменение сокровищницы языка, доставлявшее много затруднений миссионерам, особенно в тех случаях, если запрещение произносить имена оставалось постоянным. За семь лет, проведенных миссионером Добрижофером у абипонов в Парагвае, название ягуара менялось три раза, и такая же участь постигла крокодила, терновник и звериную охоту. Боязнь произнести имя, принадлежавшее покойнику, переходит в стремление избегать упоминания всего, в чем этот покойник играл роль, и важным следствием этого процесса подавления является то, что у этих народов нет традиций, нет исторических воспоминаний и исследование их прошлой истории встречает величайшие трудности. Но у некоторых из этих примитивных народов выработались компенсирующие обычаи для того, чтобы по истечении длинного периода траура снова оживить имена покойников, давая их детям, в лице которых видят возрождение мертвых.

Странное впечатление от этого табу имени уменьшается, если мы вспомним, что у дикарей имя составляет значительную часть и важное свойство личности, что они приписывают слову полноценное значение вещи. То же самое делают наши дети, как я это указал в другом месте, не довольствуясь никогда предположением, что словесное сходство может не иметь никакого значения; с полной последовательностью они делают вывод, что если две вещи имеют одинаково звучащие названия, то это значит, что между ними имеется глубокое сходство. И взрослый цивилизованный человек по некоторым особенностям своего поведения должен допустить, что он не так уж далек от того, чтобы придавать большое значение собственным именам и что его имя каким-то особенным образом срослось с его личностью. Это вполне соответствует тому положению, что психоаналитическая практика имеет много поводов указывать на значения имен в бессознательном мышлении. Как и следовало ожидать, невротики, страдающие навязчивостью, в отношении имен ведут себя так же, как дикари. У них проявляется

острая «комплексная чувствительность» к тому, чтобы произносить или слышать известные имена и слова (точно так же, как и другие невротики), и их отношение к собственному имени является источником многочисленных и часто тяжелых задержек. Одна такая больная табу, которую я знал, приобрела привычку не писать своего имени из боязни, что оно может попасть кому-нибудь в руки и тот благодаря этому овладеет частью ее личности. В судорожной верности, с которой она боролась против искушения своей фантазии, она дала себе зарок «не давать ничего от своей личности». Сюда относилось прежде всего ее имя, а в дальнейшем развитии все, что она писала собственноручно, и поэтому она, в конце концов, перестала писать.

Поэтому нам не кажется странным, если дикари относятся к имени покойника, как к части его личности, и имя это становится предметом табу, касающегося покойника. Произнесение имени покойника может также рассматриваться как прикосновение к нему, и мы можем остановиться на проблеме, почему это прикосновение подвергается такому строгому табу. Самое приемлемое объяснение указало бы на естественный ужас, вызываемый трупом изменениями, которым он быстро подвергается. Вместе с тем как причину всех табу, относящихся к покойнику, следовало бы рассматривать и печаль по поводу его смерти. Однако ужас перед трупом, очевидно, не объясняет всех предписаний табу, а печалью никак нельзя объяснить того, что упоминание о покойнике воспринимается как тяжелое оскорбление для переживших его родственников. Печаль, наоборот, охотно останавливается на умершем, охотно занимается воспоминаниями о нем и старается сохранить их на как можно долгое время. Нечто другое должно быть причиной особенностей обычаев табу, нечто преследующее, очевидно, другие цели. Именно табу имен выдает нам этот еще неизвестный мотив, и если бы на это не указывали обычаи, то мы узнали бы об этом из указаний самих оплакивающих покойника дикарей.

Они вовсе не скрывают, что боятся присутствия и возвращения духа покойника; они выполняют множество церемоний, чтобы прогнать его и держать вдали<sup>10</sup>. Произнесение его имени кажется им заклинанием, за которым может последовать его появление<sup>11</sup>. Они поэтому вполне последовательно делают все, чтобы избежать такого заклинания и пробуждения. Они переодеваются, чтобы дух не узнал их<sup>12</sup>, или искажают его имя, или свое собственное; они сердятся на неосторожного чужестранца, накликающего дух покойника на оставшихся в живых родственников его, если он называет покойника по имени. Невозможно не прийти к заключению, что они, по выражению Вундта, страдают страхом «перед душой, ставшей демоном»<sup>13</sup>.

Этот взгляд приводит нас к подтверждению мысли Вундта, который, как мы видели, усматривает сущность табу в страхе перед демонами.

Это учение, исходящее из предположения, что дорогой член семьи с момента смерти становится демоном, со стороны которого оставшимся в живых следует ждать только враждебных проявлений и против злых намерений которого они должны защищаться всеми силами, кажется таким странным, что в него сначала трудно поверить. Однако почти все видные авторы сходятся в том, что приписывают примитивным народам эту точку зрения. Вестермарк, который в своем сочинении «Происхождение и развитие нравственных понятий», по моему мнению, слишком мало обращает внимания на табу, в разделе «Отношения к умершим» прямо говорит: «вообще, имеющийся у меня фактический материал заставляет меня прийти к выводу, что в умерших чаще видят врагов, чем друзей»<sup>14</sup>, и что левонцы и Гранд Альен оши-

<sup>10</sup> Как на пример такого признания, у Фрэзера указаны слова туарега Сахары.

<sup>11</sup> Может быть, по этому поводу нужно прибавить условие: пока существует еще кое-что из его телесных останков (Фрэзер).

<sup>12</sup> На Никобарских островах (Фрэзер).

<sup>13</sup> Вундт. Религия и миф.

<sup>14</sup> Вестермарк, т. 2, с. 424. В примечании в тексте приводится большое количество подтверждающих этот вывод, часто очень характерных показаний, например: маори думали, «что самые близкие и любимые родственники изменяют свое существо после смерти и настроены враждебно даже против своих прежних любимцев». Австралийские негры думают, что всякий покойник долгое время опасен; чем ближе родство, тем больше страх. Центральные эскимосы находятся во власти представ-

баются, утверждая, что раньше думали, будто злоба покойников направляется обыкновенно против чужих, между тем как они проявляют отеческую заботливость о жизни и о благополучии своих потомков и товарищей по клану».

Р. Клейнпауль использовал в производящей глубокое впечатление книге остатки древней веры в загробную жизнь души у цивилизованных народов, чтобы дать картину взаимоотношений между живыми и мертвыми<sup>15</sup>. Самое яркое выражение эти взаимоотношения находят в убеждении, что мертвецы кровожадно влекут за собой живых. Мертвецы убивают; скелет, в виде которого теперь изображается смерть, показывает, что сама смерть представляет собой мертвеца. Оставшиеся в живых чувствуют себя защищенными от преследований мертвецов только в том случае, если между ними и их мертвыми преследователями имеется вода. Поэтому так охотно хоронили покойников на островах, перевозили на другой берег реки. Отсюда и произошли выражения – по сию сторону, по ту сторону. С течением времени враждебность мертвецов ограничилась только той категорией, которой приписывалось особое право на озлобление: убитыми, преследующими в виде злых духов своих убийц, умершими в неудовлетворенной тоске по ком-нибудь, например невестами. Но первоначально, говорит Клейнпауль, все мертвецы были вампирами, все питали злобу к живым и старались вредить им, лишить их жизни. Вообще, труп дал повод к возникновению представления о злом духе.

Предположение, что любимые покойники после смерти превратились в демонов, рождает дальнейший вопрос. Что побудило примитивные народы приписать своим дорогим покойникам такую перемену в их чувствах? Почему они их превратили в демонов? Вестермарк думает, что на этот вопрос нетрудно ответить. «Так как смерть считается самым большим несчастьем, могущим постигнуть человека, то думают, что покойники крайне недовольны своей судьбой. По принятому у первобытных народов мнению, смерть наступает только благодаря убийству, насильственному или совершенному при помощи колдовства, и поэтому уже смотрят на душу как на рассерженную и жаждущую мести; полагают, что она завидует живым и тоскует по обществу прежних родственников; вполне понятно поэтому, что она старается умертвить их при помощи болезни, чтобы соединиться с ними...»

...Дальнейшее объяснение враждебности, приписываемой душам, кроется в инстинктивной их боязни – боязни, являющейся, в свою очередь, результатом страха смерти».

Изучение психоневротических заболеваний приводит к более широкому объяснению, включающему в себя и данное Вестермарком.

Если жена лишается мужа, дочь – матери, то нередко случается, что оставшихся в живых одолевают мучительные размышления, названные нами «навязчивыми упреками» и выражающиеся в опасении, не являются ли они сами по неосторожности или небрежности причиной смерти любимого человека. Ни воспоминание о том, с какой заботливостью они ухаживали за больным, ни фактическое опровержение предполагаемой вины не может положить конца мучениям, являющимся патологическим выражением печали и со временем постепенно утихающим. Психоаналитическое исследование таких случаев открыло нам тайные пружины этого страдания. Нам стало известно, что эти навязчивые упреки в известном смысле правильны и поэтому только не уступают ни опровержению, ни возражению. Дело не в том, что оплакивающие покойника действительно, как это утверждает навязчивый упрек, виновны в смерти или проявили небрежность; но где-то у них шевелилось такое им самим неизвестное желание, удовлетворенное смертью, они и причинили бы эту смерть, если бы обладали для этого достаточной силой. Как реакция на это бессознательное желание и возникает упрек в смерти любимого человека. Такая скрытая в бессознательном за нежной любовью враждебность имеется во всех

---

лений, что покойники только долго спустя находят покой, а вначале их нужно бояться, как злокозненных духов, часто окружающих деревню, чтобы распространять болезни, смерть и другие бедствия (Боас).

<sup>15</sup> Клейнпауль. Живые и мертвые в верованиях народа, в религии и сказаниях, 1888.



почти случаях сильной привязанности чувства к определенному лицу и представляет собой классический случай, образцовый пример амбивалентности человеческих чувств. В большей или меньшей степени такая амбивалентность врождена человеку; при нормальных условиях она не так велика, чтобы вызвать возникновение описанных навязчивых упреков. Но там, где она от природы сильна, она проявляется именно в отношении к самым любимым лицам, в тех случаях, где ее меньше всего можно было бы ожидать. Предрасположение к неврозу навязчивости, который мы так часто приводили для сравнения в вопросе о табу, мы представляем себе как особенно сильно выраженную первоначальную амбивалентность чувств.

Нам известен момент, который может объяснить предполагаемый демонизм недавно умерших душ и необходимость защититься от их враждебности предписаниями табу. Если мы допустим, что чувствам примитивных людей амбивалентность присуща в такой же высокой мере, в какой мы ее на основании результатов психоанализа приписываем больным навязчивостью, то будет вполне понятно, что после тяжелой потери становится неизбежной такая же реакция против скрытой в бессознательной враждебности, какая у невротиков доказывалась навязчивыми упреками. Эта враждебность, мучительно чувствуемая в бессознательном, как удовлетворение по поводу смерти, испытывает у примитивного человека другую участь; он ее отвергает, относя ее к объекту враждебности, к покойнику. Этот процесс, часто встречающийся в больной и нормальной душевной жизни, мы называем проекцией. Оставшийся в живых отрицает, что у него когда-либо имелись враждебные душевные движения против любимого покойника; но теперь такие чувства имеются в душе умершего, и она постарается проявить их в течение всего периода траура. Характер наказания и раскаяния, присущий этой чувственной реакции, несмотря на удавшееся отрицание ее, все-таки проявляется при помощи проекции в том, что испытывается страх, налагаются лишения и люди подвергаются ограничениям, которые отчасти маскируются как меры защиты против враждебного демона. Таким образом, мы снова находим, что табу выросло на почве амбивалентной направленности чувств, и табу покойников вытекает из противоположности между сознательной болью и бессознательным удовлетворением по поводу смерти. При таком происхождении гнева духов вполне понятно, что больше всего приходится его опасаться именно самым близким и прежде всего наиболее любимым родственникам.

Предписания табу проявляют здесь ту же двойственность, что и невротические симптомы. Благодаря своему характеру ограничений они, с одной стороны, являются выражением печали, а с другой – очень ярко выдают то, что хотели скрыть, – враждебность к покойнику, которая теперь мотивируется как самозащита. Некоторую часть запретов табу мы научились понимать как страх перед искушением. Покойник беззащитен – это должно поощрять стремление к удовлетворению на нем враждебных страстей, и против этого искушения должно быть выдвинуто запрещение.

Но Вестермарк прав, когда он не допускает у дикарей понимания различия между насильственно и естественно умершим. Для бессознательного мышления убитым является и тот, кто умер естественной смертью; его убили злостные желания (ср. следующую статью этого ряда: «Анимизм, магия и могущество мысли»). Кто интересуется происхождением и значением сновидений о смерти любимых родственников (родителей, братьев, сестер), тот сможет констатировать полное сходство отношения к умершему у сновидца-ребенка и дикаря, – сходство, в основе которого лежит та же амбивалентность чувств.

Выше мы возражали против взгляда Вундта, видящего сущность табу в страхе перед демонами, и тем не менее мы только что согласились с объяснением, которое сводит табу мертвецов к страху перед душой покойника, превратившегося в демона. Это может казаться противоречием, но нам нетрудно будет устранить его. Хотя мы и допустили демонов, но не придавали им значения чего-то конечного и неразрешимого для психологии. Мы как бы разгадали

этих демонов, распознав их, как проекции враждебных чувств к покойникам, бывших у оставшихся в живых.

Согласно хорошо обоснованному нашему предположению, двойственные к покойнику чувства – нежные и враждебные – стремятся оба проявиться во время потери его, как печаль и удовлетворение. Между этими двумя противоположностями должен возникнуть конфликт, и так как одно из борющихся чувств враждебность – полностью или в большей части – остается бессознательным, то исход конфликта не может состоять в вычитании обоих чувств одного из другого в сознательном предпочтении чувства, оказавшегося в избытке, это бывает, например, если прощаешь любимому человеку причиненное им огорчение. Процесс изживается благодаря особому психическому механизму, который в психоанализе обыкновенно называют проекцией. Враждебность, о которой ничего не знаешь и также впредь не хочешь знать, переносится из внутреннего восприятия во внешний мир и при этом отнимается от самого себя и приписывается другим. Не мы, оставшиеся в живых, радуемся теперь тому, что избавились от покойника; нет, мы оплакиваем его, но он теперь странным образом превратился в злого демона, который испытывал бы удовлетворение от нашего несчастья и старается принести нам смерть. Оставшиеся в живых должны теперь защищаться от злого врага; они свободны от внутреннего гнета, но заменили его угрозой извне.

Нельзя отрицать, что этот процесс проекции, превращающий покойника в злого врага, находит поддержку в действительной враждебности, которая осталась о них в памяти и за которую их действительно можно упрекнуть. Мы имеем в виду их жестокость, властолюбие, несправедливость и все другое, что составляет подоплеку самых нежных отношений между людьми. Но дело обстоит не так просто, чтобы одним этим моментом объяснить создание демонов путем проекции. Вина умерших составляет, несомненно, часть мотивов, объясняющих враждебность оставшихся в живых, но она не имела бы такого действия, если бы не повлекла за собой враждебности, и момент смерти, несомненно, был бы весьма неподходящим поводом к тому, чтобы вспомнить все упреки, которые с основанием можно было бы сделать покойникам. Мы не можем отказаться от бессознательной враждебности, как от постоянно действующего и двигающего мотива. Это враждебное душевное движение к самым близким, дорогим родственникам при их жизни не проявлялось, т. е. не открывалось сознание ни непосредственно, ни посредством какого-нибудь заменяющего его проявления. Но это стало уже больше невозможным с момента смерти одновременно любимых и ненавистных лиц: конфликт обострился. Печаль, имеющая своим источником повышенную нежность, проявляет, с одной стороны, нетерпимость к скрытой враждебности, а с другой – она не может допустить, чтобы эта враждебность привела к чувству удовлетворения. Таким образом, дело доходит до вытеснения бессознательной враждебности путем проекции и образования церемониала, в котором находит себе выражение страх наказания со стороны демонов, а по истечении срока траура конфликт теряет остроту, так что табу этих умерших ослабляется или предается забвению.

#### 4

Выяснив таким образом почву, на которой выросло чрезвычайно поучительное табу покойников, мы воспользуемся случаем, чтобы сделать несколько замечаний, не лишенных значения для понимания табу вообще.

Проекция бессознательной враждебности при табу покойников представляет собой только один пример из целого ряда процессов, которым приходится приписать громаднейшее влияние на весь склад душевной жизни примитивного человека. В рассматриваемом случае проекция служит разрешению конфликта чувств; такое же применение она находит при многих психических ситуациях, ведущих к неврозу. Но проекция не создана для отражения душевных переживаний, она имеет место и там, где нет конфликтов. Проекция внутренних воспри-

ятий вовне является примитивным механизмом, которому, например, подчинены восприятия наших чувств, который, следовательно, при нормальных условиях принимает самое большое участие в образовании нашего внешнего мира. При еще не вполне выясненных условиях и внутреннее восприятие аффективных и мыслительных процессов проецируется, подобно восприятиям чувств, вовне, употребляется на образование внешнего мира, хотя должно было бы оставаться в пределах внутреннего мира. Генетически это может быть связано с тем, что функция внимания первоначально обращена не на внутренний мир, а на раздражения, исходящие из внешнего мира, и из эндopsихических процессов воспринимаются только такие, которые сообщают о развитии наслаждения и неудовольствия. Только с развитием абстрактного языка мысли, благодаря соединению чувственных остатков словесных представлений с внутренними процессами, эти последние сами становились постепенно доступными внутреннему восприятию. До того примитивные люди посредством проекции внутренних восприятий вовне создали картину внешнего мира, которую мы теперь с окрепшим восприятием сознания должны обратно перевести на язык психологии.

Проекция собственных душевных движений на демонов составляет только часть системы, ставшей «миросозерцанием» примитивных народов; в следующей статье этого цикла мы познакомимся с ним, как с анимистическим. Нам тогда придется установить психологические признаки подобной системы и найти точки опоры в анализе тех систем, которые представляют нам опять-таки неврозы. Пока мы скажем только то, что так называемая «вторичная переработка» содержания сновидений представляет собой образец для всех этих систем. Не следует также забывать, что начиная со стадии образования системы каждый акт, являющийся объектом суждения сознания, имеет двоякое происхождение – систематическое и реальное, но бессознательное<sup>16</sup>.

Вундт замечает, что «между влияниями, приписываемыми повсюду мифом демонам, сначала преобладают вредные, так что вера народов в злых демонов, очевидно, древнее, чем в добрых». Вполне возможно, что понятие о демоне вообще возникло из имеющих такое большое значение отношений к мертвецам. Присущая этим отношениям амбивалентность проявилась в дальнейшем течении человеческого развития в том, что послужила началом для двух совершенно противоположных образований из одного и того же корня: с одной стороны, боязни демонов и привидений, а с другой – почитания предков<sup>17</sup>. Ничто не доказывает лучше, что под демонами всегда подразумеваются духи недавно умерших, как влияние траура на возникновение веры в демонов. Траур должен разрешить вполне определенную психическую задачу, он должен убить у оставшихся в живых воспоминание о покойниках и связанные с ними ожидания. Когда эта работа совершена, боль успокаивается, а вместе с нею и раскаяние и упрек, а потому также и страх перед демонами. Но те же духи, которые сначала внушали страх как демоны, приближаются к более дружелюбному назначению – становятся объектом обожания в качестве предков, к которым обращаются с просьбой о помощи.

Если рассмотреть, как менялось с течением времени отношение у оставшихся в живых к покойникам, то станет совершенно ясно, что амбивалентность этого отношения чрезвычайно ослабела. Теперь легко удастся подавить бессознательную, все еще обнаруживаемую враждебность к покойникам, не нуждаясь для этого в особом душевном напряжении. Там, где прежде боролись друг с другом удовлетворенная ненависть и причиняющая страдание нежность, теперь возникает, как рубец, пиетет и требует: *de mortuis nil nisi bene*. Только невротики омрачают печаль по поводу смерти дорогого лица припадками навязчивых упреков, вскры-

<sup>16</sup> Творения проекции примитивных народов родственны олицетворениям, при помощи которых поэт рисует борющиеся в нем противоположные влечения как отдельных индивидов.

<sup>17</sup> В психоанализе невротических лиц, страдавших в детстве страхом привидений, часто нетрудно бывает разоблачить, что за этими привидениями скрываются родители. По этому поводу ср. также сообщение П. Хеберлина, в котором речь идет о другом окрашенном в эротическое чувство лице, причем отец, однако, уже умер.

вающих в психоанализе их тайну старой амбивалентной констелляции чувств. Каким путем происходит это изменение, насколько причины его разделяются между конституциональными изменениями и реальным улучшением семейных отношений, об этом здесь распространяться не для чего. Но этот пример мог бы вызвать предположение, что в душевных движениях примитивных народов приходится вообще допустить большую степень амбивалентности, чем ту, какую мы можем найти у современного культурного человека. По мере уменьшения этой амбивалентности постепенно исчезает также табу, являющееся компромиссным симптомом амбивалентного конфликта. Относительно невротиков, которые вынуждены воспроизводить эту борьбу и вытекающее из него табу, мы сказали бы, что они родились с архаической конституцией в виде атавистического остатка, компенсация которого в пользу требования культуры вынуждает их делать такие невероятные душевные усилия.

Тут нам припоминаются сообщенные Вундтом сбивчивые в своей неясности данные о двояком значении слова табу: святой и нечистый (см. выше). Первоначально слово табу еще не имело значения святого и нечистого, а обозначало только демоническое, до чего нельзя дотрагиваться, и таким образом подчеркивало важный, общий обоим противоположным понятиям признак; однако эта сохранившаяся общность показывает, что между этими двумя областями освященного и нечистого первоначально имелось сходство, уступившее лишь позже место дифференциации.

В противоположность этому из наших рассуждений без труда вытекает, что слову табу с самого начала присуще упомянутое двойственное значение, что оно служит для обозначения определенной амбивалентности и всего того, что выросло на почве этой амбивалентности. Табу – само по себе амбивалентное слово, и затем уже, думаем мы, из установленного смысла слова можно было бы понять то, что явилось в результате предварительного исследования, а именно что запрет табу есть результат амбивалентности чувств. Изучение древнейших языков показало нам, что когда-то было много таких слов, обозначавших противоположности в известном – если и не совсем одном и том же смысле, т. е. они были амбивалентны, как слово табу<sup>18</sup>. Незначительные звуковые изменения внутренне противоречивого по смыслу первоначального слова послужили позже к тому, чтобы придать обоим объединенным в нем противоположностям различное словесное выражение.

Слово табу постигла другая судьба; по мере уменьшения важности обозначаемой им амбивалентности исчезло из сокровищницы языка оно само или аналогичные ему слова. В дальнейшем изложении, надеюсь, мне удастся доказать вероятность того, что за судьбой этого понятия скрывается чувствительная историческая перемена, что сначала это слово было связано с вполне определенными человеческими отношениями, которым были свойственны большая амбивалентность чувств, и что с этих отношений оно распространилось на другие аналогичные отношения.

Если мы не ошибаемся, то понимание табу проливает свет на природу и возникновение совести. Не расширяя понятия, можно говорить о совести табу и о сознании вины табу после нарушения его. Совесть табу представляет собой, вероятно, самую древнюю форму, в которой мы встречаемся с феноменом табу.

Ибо что такое «совесть»? Как показывает само название, совесть составляет то, что лучше всего известно<sup>19</sup>, в некоторых языках обозначение совести едва отличается от обозначения сознания.

Совесть представляет собой внутреннее восприятие недопустимости известных имеющих у нас желаний; но ударение ставится на том, что эта недопустимость не нуждается ни в каких доказательствах, что она сама по себе несомненна. Еще яснее это становится при созна-

---

<sup>18</sup> Ср. мой реферат о работе Абея.

<sup>19</sup> Немецкое *Gewissen* (совесть) происходит от слова *wissen* (знать), а русское «совесть» – от «ведать».

нии вины, восприятию внутреннего осуждения таких актов, в которых мы осуществили известные желания. Обоснование кажется тут лишним; всякий, имеющий совесть, должен почувствовать справедливость осуждения, упрек за совершенный поступок. Такие же точно признаки характеризуют отношение дикарей к табу; табу есть веление совести, нарушение его влечет за собой ужасное чувство вины, в такой же мере непонятное, как и неизвестное по своему происхождению<sup>20</sup>.

Итак, и совесть также, вероятно, возникает на почве амбивалентности чувств из вполне определенных человеческих отношений, с которыми связана эта амбивалентность, и при условиях, имеющих значение для табу и для невроза навязчивости, а именно один член внутренней противоречивой пары бессознателен и поддерживается в вытесненном состоянии благодаря насильственному господству другого. С таким выводом согласуется многое из того, что мы узнали из анализа неврозов. Во-первых, что в характере невротиков, страдающих навязчивостью, нередко проявляется черта преувеличенной совестливости, как симптом реакции против притаившегося в бессознательном искушения, и что при усилении заболевания от нее развивается высшая степень чувства вины. Действительно, можно утверждать, что если мы не сумеем открыть при неврозе навязчивости чувства вины, то у нас вообще нет надежды когда-либо ее узнать. Разрешение этой задачи удастся у отдельного невротического индивида; в отношении же народов мы позволяем себе заключить, что эта задача допускает такое же решение.

Во-вторых, мы должны обратить внимание на то, что чувству вины присуще многое из природы страха; без всяких опасений его можно описать как «совестливый страх», а страх указывает на бессознательные источники; из психологии неврозов нам известно, что если желания подвергаются вытеснению, их либидо превращается в страх. По этому поводу напомним, что и при чувстве вины кое-что остается неизвестным и бессознательным, а именно – мотивы осуждения. Этому неизвестному соответствует признак страха в чувстве вины.

Если табу выражается преимущественно в запрещениях, то простое соображение подсказывает нам мысль, что само собой понятно и нет никакой надобности в обширных доказательствах из аналогии с неврозами, что в основе его лежит положительное, чего-то желающее душевное движение. Ибо не приходится запрещать того, чего никто не хочет делать, и во всяком случае то, что категорически запрещается, должно быть предметом вожделения. Если это вполне понятное положение применить к нашим примитивным народам, то мы должны будем сделать вывод, что величайшее искушение для них составляет желание убивать своих королей и священников, совершать кровосмесительства, терзать умерших и т. п. Это едва ли вероятно; но самое решительное возражение мы вызовем, применив то же положение к случаям, в которых мы, по нашему собственному мнению, яснее всего слышим голос совести. С непоколебимой уверенностью можем мы в таких случаях утверждать, что не испытываем ни малейшего искушения нарушить какое-либо из этих запрещений, например заповедь «не убий», и что нарушение ее вызывает в нас только чувство омерзения.

Если придать этому свидетельству нашей совести значение, на которое оно имеет право, то, с одной стороны, запрещение становится излишним – как табу, так и запрещение нашей морали, а с другой – факт существования совести остается необъясненным, а зависимость между табу и неврозами отпадает. Таким образом восстанавливается состояние нашего понимания, существующее и в настоящее время, до применения психоаналитической точки зрения для освещения этой проблемы.

Если же мы принимаем во внимание установленные психоанализом – на сновидениях здоровых – факты, что искушение убить другого и у нас сильнее и встречается чаще, чем мы

---

<sup>20</sup> Интересна параллель, что сознание вины табу ничем не уменьшается, если нарушение его совершено по неведению (см. примеры выше), и что еще в греческом мифе с Эдипа не снимается вина из-за того, что преступление совершено им против воли и по неведению.

подозревали, и что оно оказывает психическое влияние и тогда, когда не отражается в нашем сознании; если мы далее откроем в навязчивых предписаниях определенных невротиков меры предосторожности и наказания самого себя против усиленного импульса убивать, то выдвинутое раньше положение: там, где имеется запрещение, за ним должно скрываться желание, — приобретет в наших глазах особенную ценность. Мы должны будем допустить, что это желание убивать фактически существует в бессознательном и что табу, как и запрещения морали психологически, безусловно, не излишни, а объясняются и оправдываются амбивалентной направленностью импульса убивать.

Один признак этого амбивалентного отношения, особенно подчеркиваемый как фундаментальный, а именно что положительное, желающее душевное движение бессознательно открывает надежду на существование новых связей и возможности объяснения. Психические процессы в бессознательном не совсем тождественны с процессами, известными нам в нашей сознательной душевной жизни, а пользуются некоторой замечательной свободой, которой лишены последние. Бессознательный импульс не должен возникать непременно там, где мы находим его проявление; он может исходить из совсем другого места, относиться первоначально к другим лицам и объектам и благодаря механизму сдвига появиться там, где мы обращаем на него внимание. Далее, благодаря тому, что бессознательные процессы с очень раннего времени, когда они законны, не разрушаются и не поддаются исправлению, они могут перенестись в более поздние времена и отношения, при которых их проявления должны казаться странными. Все это только намеки, но детальное развитие их показало бы их значение для понимания культурного развития.

В заключение этой работы сделаем замечание, являющееся подготовкой для дальнейших исследований. Если мы и придерживаемся взгляда, что по существу запрещения табу и запрещения морали одинаковы, то все же не станем спорить, что между ними имеется психологическое различие. Только изменение в отношениях, лежащих в основе обеих амбивалентностей, может быть причиной того, что запрещение не существует более в форме табу.

До сих пор при аналитическом исследовании феноменов табу мы руководствовались доказанным сходством их с неврозом навязчивости; но табу ведь не невроз, а социальное явление; поэтому на нас лежит обязанность указать на принципиальное отличие невроза от такого продукта культуры, как табу.

Я хочу опять избрать исходной точкой здесь только один факт. Примитивные народы боятся наказания за нарушение табу, по большей части тяжелого заболевания или смерти. Такое наказание угрожает тому, кто провинился в подобном нарушении. При неврозе навязчивости дело обстоит иначе. Если больной принужден совершить нечто запрещенное ему, то он боится наказания не за самого себя, а за другое лицо, большей частью остающееся неопределенным, но посредством анализа в этом лице легко узнать самого близкого больному и самого любимого человека. Невротик ведет себя при этом альтруистически, а примитивный человек — эгоистически. Только тогда, когда нарушение табу само по себе осталось безнаказанным для преступника, — только тогда просыпается у дикарей коллективное чувство, что это преступление грозит всем, и они спешат сами осуществить невоспоследовавшее наказание. Нам нетрудно объяснить себе механизм этой солидарности. Здесь играет роль страх перед заразительным примером, перед искушением подражания, т. е. перед способностью табу к заразе. Если кому-нибудь удалось удовлетворить вытесненное желание, то у всех других членов общества должно зашевелиться такое же желание; чтобы одолеть это искушение, тот, кому завидуют, должен быть лишен плодов своей дерзости, и наказание дает нередко возможность тем, кто его выполняет, сделать со своей стороны тот же греховный поступок под видом исправления вины. В этом состоит одно из основных положений человеческого уложения о наказаниях, и оно исходит из предположения безусловно верного, что сходные запрещенные душевные движения имеются как у преступника, так и у мстящего общества.

Психоанализ тут подтверждает то, что обыкновенно говорят благочестивые люди, что все мы большие грешники. Как же объяснить неожиданное благородство невроза, ничего не боящегося за себя, а только за любимое лицо? Аналитическое исследование показывает, что это благородство не первично. Первоначально, т. е. в начале заболевания, угроза наказанием относилась к самому себе; в каждом случае опасались за собственную жизнь; лишь позже страх смерти перенесся на другое любимое лицо. Процесс в некотором отношении сложный, но мы его вполне понимаем. В основе запрещения всегда лежит злобное душевное движение – желание смерти – по отношению к любимому лицу. Это желание вытесняется благодаря запрещению, запрещение связывается с определенным действием, которое заменяет посредством сдвига враждебное действие против любимого лица, а за совершение этого действия грозит наказание смертью. Но процесс идет дальше, и первоначальное желание смерти любимого человека заменяется страхом его смерти. Если невроз оказывается, таким образом, нежно альтруистическим, то он этим только компенсирует лежащую в основе его противоположную направленность жестокого эгоизма. Если мы назовем душевные движения, которые определяются тем, что принимают во внимание другое лицо, но не избирают его сексуальным объектом, социальными, то в этом ослаблении социальных факторов мы можем видеть основную черту невроза, скрытую за сверхкомпенсацией.

Не останавливаясь на развитии этих социальных душевных движений и их отношений к другим основным влияниям человека, постараемся на другом примере выяснить второй главный признак невроза. По формам своего проявления табу имеет самое большое сходство со страхом прикосновения невротиков, с *delire de toucher*. Но при этом неврозе дело всегда идет о запрещении сексуального прикосновения, а психоанализ вообще показал, что влечения, которые при неврозе отклоняются от первичной своей цели и переносятся на другие, имеют сексуальное происхождение. При табу запретное прикосновение имеет, очевидно, не только сексуальное значение, а скорее более общее значение нападения, овладения, подчеркивания значительности собственной личности. Если запрещено прикасаться к вождю или к чему бы то ни было, что было с ним в соприкосновении, то этим сдерживается тот же самый импульс, который проявляется в другой раз, в недоверчивом надзоре за вождем, даже в телесном избивении его перед коронованием (см. выше). Таким образом, преобладание участия сексуальных влечений над социальными составляет характерный момент невроза. Но сами социальные влечения развились в особые комплексы благодаря слиянию эгоистических и эротических компонентов.

На этом одном примере сравнения табу с неврозом навязчивости уже можно видеть, каково отношение отдельных форм невроза к формам культурного развития и почему изучение психологии неврозов важно для понимания культурного развития.

Неврозы, с одной стороны, показывают резкое и глубокое сходство с большими социальными произведениями искусства, религии и философии, а с другой – они производят впечатление искажения последних. С некоторой смелостью можно утверждать, что истерия представляет собой карикатуру на произведение искусства, невроз навязчивости – карикатуру на религию, параноический бред – карикатурное искажение философской системы. Это отклонение в конечном результате объясняется тем, что неврозы представляют асоциальные образования; они питаются средствами индивида и совершают то, что в обществе развилось благодаря коллективной работе. При анализе влечений неврозов оказывается, что при них решающее влияние имеют влечения сексуального происхождения, между тем как соответствующие образования культуры зиждутся на социальных влечениях, т. е. таких, которые произошли от слияния эгоистических и эротических компонентов. Сексуальная потребность не в состоянии таким же образом объединять людей, как требования, вытекающие из самосохранения; сексуальное удовлетворение есть прежде всего частное дело индивида.

Генетически асоциальная природа невроза вытекает из его первоначального устремления из неудовлетворенной реальности в более приятный мир фантазии. В этом реальном мире, которого невротик избегает, господствует общество людей и созданные ими институты; уход от реальности является одновременно и выходом из человеческого сообщества.



## Анимизм, магия и всемогущество мысли

### 1

Неизбежным недостатком работ, стремящихся применить к темам наук о духе психоаналитическую точку зрения, является то, что они дают читателю слишком мало и того, и другого. Они должны поэтому ограничиться тем, что носят характер стимулов, они делают предложения специалисту, с тем чтобы он принимал их во внимание при своей работе. Этот недостаток дает себя больше почувствовать в статье, трактующей о необъятной области того, что называется анимизмом<sup>21</sup>.

Анимизмом в тесном смысле слова называется учение о представлениях о душе, в широком смысле – о духовных существах вообще. Различают еще аниматизм, учение об одушевленности кажущейся нам неодушевленной природы, и сюда же присоединяют анимализм и манизм. Название анимизм, применявшееся прежде к определенной философской системе, получило, по-видимому, свое настоящее значение благодаря Е. В. Тайлору.

Повод к предложению этого названия дало знакомство с крайне замечательным пониманием явлений природы и мира известных нам примитивных народов, как исторических, так и живущих теперь. Они населяют мир огромным количеством духов, благосклонных к ним или недоброжелательных; этим духам и демонам они приписывают причину явлений природы и полагают, что они одушевляют не только животных и растения, но и все неодушевленные предметы мира. Третья и, может быть, самая важная часть этой примитивной «натурфилософии» кажется нам гораздо менее странной, потому что мы сами еще не очень далеко ушли от нее, между тем как существование духов мы очень ограничили и явления природы объясняем теперь гипотезой безличных физических сил. Примитивные народы верят в подобное одушевление также и отдельного человека. Каждый человек в отдельности имеет душу, которая может оставить свое обиталище и переселиться в других людей. Эти души являются носителями душевной деятельности и до известной степени независимы от «тел». Первоначально существовало представление, что души очень похожи на индивидов и только в течение длительного развития они освободились от материальных признаков, достигнув высокой степени «одухотворенности».

Большинство авторов склонны допустить, что эти представления о душе составляют первоначальное ядро анимистической системы, что духи соответствуют только ставшим самостоятельными душам и что души животных, растений и предметов аналогичны человеческим душам.

Каким образом примитивные люди дошли до этого странного основного дуалистического мирозерцания, на котором зиждется эта анимистическая система? Полагают, что этот дуализм выработался благодаря наблюдению феноменов сна (и сновидения) и столь похожей на него смерти и благодаря стремлению объяснить себе эти так близко интересующие каждого состояния; прежде всего проблема смерти стала, вероятно, исходным пунктом для образования этой теории. Для примитивного человека продолжение жизни – бессмертие – является чем-то само собой понятным. Представление о смерти возникает позже и очень постепенно, оно и для нас является чем-то бессодержательным и невоплотимым. О том, насколько другие наблюдения и опыт участвовали в образовании основных анимистических учений, таких как,

---

<sup>21</sup> Вынужденная сжатость материала заставляет отказаться также и от подробного указателя литературы. Вместо этого ограничусь указанием на известные произведения, из которых взяты все положения анимизма и магии. Самостоятельность автора может проявиться только в сделанном им выборе тем и взглядов.

например, сновидения, теней, зеркальных отражений и т. п., имели место очень оживленные дискуссии, не приведшие, однако, к определенному заключению<sup>22</sup>.

Если примитивный человек реагировал на феномены, возбуждающие его мысли, образом представления о душе и перенес его на объекты внешнего мира, то поведение его считается при этом совершенно естественным и незагадочным. Принимая во внимание тот факт, что одинаковые анимистические представления одинаково появлялись у самых различных народов и в разные времена, Вундт полагает, что эти представления «являются необходимым психологическим продуктом мифотворческого сознания и примитивный анимизм может считаться духовным выражением естественного состояния человека, поскольку оно вообще доступно наблюдению. Оправдание оживления неодушевленного дано уже Юмом в его “Natural History of religion”, где он пишет: “Всеобщей тенденцией человеческого рода является стремление понимать всякое существо как себе подобное и переносить на каждый объект такие качества, с которым он сам хорошо знаком и что он знает лучше всего”».

Анимизм представляет собой философскую систему, он не только дает объяснение отдельного феномена, но и дает возможность понять весь мир как единую совокупность, исходя из одной точки зрения. Если соглашаться с авторами, то человечество создало три такие философские системы, три великих мирозерцания: анимистическое, религиозное и научное. Из них первым явилось анимистическое, может быть, самое последовательное и исчерпывающее, полностью, без остатка объясняющее сущность мира. Это первое мирозерцание человечества представляет собой психологическую теорию. В наши намерения не входит показать, сколько из этого мирозерцания сохранилось в современной жизни или в обесцененном виде в форме суеверия, или в жизненном, как основа нашего языка, веры и философии.

Указывая на эти три последовательно развившихся мирозерцания, говорят, что сам анимизм – еще не религия, но содержит предпосылки, на которых строится в дальнейшем религия. Вполне очевидно также, что миф основан на анимистических предположениях; подробности взаимоотношений между мифом и анимизмом кажутся, однако, в существенных пунктах невыясненными.

## 2

Наша психоаналитическая работа начнется с другого пункта. Невозможно предполагать, что люди из чисто спекулятивной любознательности дошли до создания своей первой мировой системы. Практическая необходимость овладеть миром должна была принимать участие в этих стараниях. Мы не удивляемся поэтому, когда узнаем, что рука об руку с анимистической системой идет еще что-то другое – указание, как поступать, чтобы получить власть над людьми, животными, предметами или их душами. Это указание, известное под именем «колдовства и магии», С. Райнах называет стратегией анимизма; я предпочел бы с Губертом и Мауссом сравнить их с техникой анимизма.

Можно ли различать понятия колдовство и магия? Это оказывается возможным, и если с некоторой вольностью пренебречь неточностями языка, тогда колдовство по существу означает искусство влиять на духов, обращаясь с ними так, как при таких же условиях поступают с людьми, т. е. успокаивая их, примиряя их, проявляя готовность их запугать, лишая их могущества, подчиняя их своей воле теми же средствами, которые оказались действительными по отношению к живым людям. Но магия – нечто другое; она в своей сущности игнорирует духов и пользуется особыми средствами, а не банальными психологическими методами. Нам нетрудно будет понять, что магия является первоначальной и более значительной частью анимистической техники, потому что среди средств, с помощью которых нужно обращаться с духами, име-

---

<sup>22</sup> Ср., кроме Вундта, Г. Спенсера, ориентирующую статью в Encyclopedia Britannica. 1911 (Анимизм, мифология и т. п.).

ются также и магические<sup>23</sup>. И магия находит себе применение также и в тех случаях, когда, как нам кажется, одухотворение природы не имеет места.

Магия должна служить самым разнообразным целям, подчинить явления природы воле человека, защитить индивида от врагов и опасностей и дать ему силу вредить врагам. Принцип же, из которого исходит магическое действие, – или, вернее, принцип магии – до того очевиден, что признается всеми авторами. Короче всего можно его выразить, если не считаться с прилагаемой оценкой, словами Э. Б. Тайлора: ошибочное выдвигание идеального перед реальным. На двух группах магических действий мы выясним, каков этот принцип.

Одна из самых распространенных магических процедур, имеющих целью повредить врагу, состоит в том, чтобы из какого угодно материала сделать соответствующее его изображение. Сходство при этом большого значения не имеет, можно также какой-нибудь объект «назвать» его портретом. То, что делают в таких случаях с этим портретом, происходит также и с ненавистным оригиналом его; последний заболевает в том же самом месте на теле, где наносят рану первому.

Ту же самую магическую технику можно использовать в целях благочестия вместо удовлетворения личной вражды и таким образом прийти на помощь богам против злых демонов. Цитирую по Фрэзеру: «Каждую ночь, когда бог солнца Ра (в Древнем Египте) спускался к себе домой в пылающем небе заката, ему приходилось выдерживать жестокий бой с сонмом демонов, нападавших на него под предводительством его заклятого врага Апеи. Всю ночь напролет он боролся с ними, и часто силы тьмы были достаточны для того, чтобы еще и днем посылать на голубое небо темные тучи, ослаблявшие его силу и умалявшие его свет. Чтобы прийти на помощь богу, в храме его в Фивах совершалась ежедневно следующая церемония; из воска делали изображение его врага Апеи в образе отвратительного крокодила или длинной змеи и на нем зелеными чернилами писали имя демона. Завернув это изображение в оболочку из папируса, на которой делали такой же рисунок, эту фигуру окутывали черными волосами; священник плевал на нее, полосовал каменным ножом и бросал на землю. Затем он наступал на фигуру левой ногой и, наконец, сжигал ее на пламени, в котором горели определенные растения. После того как таким образом уничтожали Апеи, то же самое проделывали со всеми демонами его свиты. Это богослужение, при котором произносили определенные молитвы, повторялось не только утром, днем и вечером, но и в любое время в промежутках, когда бушевала буря, когда падал проливной дождь или черные тучи закрывали солнечный диск в небесах. Злые враги чувствовали истязание, которое совершалось над их изображениями, как будто они сами страдали от них; они обращались в бегство, и бог солнца несомненно торжествовал»<sup>24</sup>.

Из необозримого количества магических действий, имеющих такое же основание, я упомяну еще о двух, игравших всегда большую роль у примитивных народов и отчасти уцелевших в мифах и в культе более высокой ступени развития, а именно о заклинаниях дождя и плодородия. Магическим путем призывали дождь, имитируя его, а также подражая облакам или грозе. Это как бы хотели «играть в дождь». Японские айнос, например, делают дождь таким образом, что часть из них льет воду из больших сит, между тем как другая часть снаряжает большую миску парусами и веслами, как будто бы это было судно, и волокут ее вокруг деревни и садов. Плодородие почвы обеспечивали себе магическим путем, путем демонстрации полового акта людей. Так, в некоторых частях Явы, – привожу один пример вместо бесконечного количества, – когда приближается время цветения риса, крестьянин и крестьянка отправляются ночью в поля, чтобы побудить рис к плодородию примером, который они ему подают. А

---

<sup>23</sup> Если криком и шумом прогоняют какого-нибудь духа, то это воздействие посредством чистого колдовства; если его подчиняют, завладев его именем, то против него пущена в ход магия.

<sup>24</sup> Библейское запрещение делать себе изображение какого-нибудь живого существа, вероятно, возникло не вследствие принципиального отрицания изобразительного искусства, а имело целью лишить орудия магии, осуждаемую еврейской религией (Фрэзер).

запрещенные инцестуозные половые отношения вызывали, наоборот, опасения, что вырастут сорные травы или будет неурожай<sup>25</sup>.

Известные отрицательные магические предписания также можно присоединить к этой группе. Если часть жителей деревни даяков отправляется на охоту за кабанами, то оставшиеся не смеют прикасаться руками ни к маслу, ни к воде, потому что в противном случае у охотников пальцы станут мягкими и добыча ускользнет из их рук. Или если охотник гильяк преследует в лесу дичь, то его детям, оставшимся дома, запрещено делать чертежи на дереве или на песке. В противном случае следы в густом лесу могут так же спутаться, как линии рисунка, и таким образом охотник не найдет дороги домой.

Если в последних примерах магического действия, как и во многих других, расстояние не играет никакой роли и телепатия принимается как нечто само собой понятное, то и для нас не составит никакой трудности понять особенности этой магии.

Не подлежит никакому сомнению, что именно считается действительным во всех этих примерах. Это – сходство между совершенным действием и ожидаемым происшествием. Фрэнк называет поэтому этого рода магию имитативной, или гомеопатической. Если мне хочется, чтобы шел дождь, то мне стоит только сделать что-нибудь такое, что похоже на дождь или напоминает дождь. В последующей фазе культурного развития вместо магического колдования о дожде устраиваются молебственные шествия к божьему храму, где умоляют пребывающего там святого о дожде. Наконец, отказываются и от этой религиозной техники и стараются вызвать дождь какими-нибудь воздействиями на атмосферу.

В другой группе магических действий принцип сходства уже не принимается во внимание, но взамен его применяется другой, который станет легкопонятным из следующих примеров.

Чтобы повредить врагу, можно прибегнуть еще к другому приему. Нужно заполучить его волосы, ногти, отбросы его или даже части его одежды и над этими вещами проделать что-нибудь враждебное. В таких случаях это то же самое, как если бы овладели самим лицом, и все, что проделали над принадлежащими этому лицу вещами, должно случиться с ним самим. Существенную часть личности, по взглядам примитивных народов, составляет их имя; если, следовательно, известно имя лица или духа, то приобретаешь некоторую власть над тем, кто носит это имя. Отсюда замечательные предписания и ограничения в употреблении имен, о которых упоминалось в статье о табу. Сходство в этих примерах заменяется, очевидно, принадлежностью к одному и тому же – субъекту.

Каннибализм примитивных народов имеет высшей своей мотивировкой нечто подобное. Вбирая в себя части тела какого-нибудь лица посредством акта пожирания, усваивают себе также и свойства, которые имелись у этого лица. Отсюда следуют предосторожности и ограничения в диете при исключительных условиях. Женщина во время беременности должна избегать есть мясо определенных животных, потому что таким образом могут перейти к выращиваемому ею ребенку нежелательные свойства, например трусость. Для магического действия не имеет никакого значения даже то обстоятельство, что связь уже прервана или что она вообще состояла только из однократного значительного прикосновения. Так, например, можно проследить неизменной на протяжении тысячелетий веру в магическую связь, существующую между раной и оружием, которым она была нанесена. Если меланезийцу удастся овладеть луком, которым он был ранен, то он постарается тщательно спрятать его в прохладном месте, чтобы таким образом предупредить воспаление раны. Если же лук остался в руках врагов, то его непременно повесят как можно ближе к огню, чтобы рана как следует воспалилась и горела. Плиний советует тому, кто раскаивается в поранении другого, плюнуть на руку, причинившую поранение, этим немедленно облегчится боль раненого. Фрэнсис Бэкон ссылается

---

<sup>25</sup> Отзвуки этого имеются в «Царе Эдипе» Софокла.

в своей «Истории» на общераспространенную веру, что смазывание оружия, причинившего рану, излечивает самую рану. Английские крестьяне еще и теперь действуют по этому рецепту и, порезавшись серпом, тщательно сохраняют этот инструмент в чистоте, чтобы рана не загноилась. В июне 1902 г., как сообщала местная английская газета, женщина по имени Матильда Генри в Норвиче случайно напоролась пяткой на железный гвоздь. Не дав исследовать раны и даже не снявши чулка, она велела дочери смазать хорошо гвоздь маслом в ожидании, что тогда с ней ничего плохого не случится. Несколько дней спустя она умерла от столбняка.

Примеры последней группы поясняют, что Фрэзер называет контагиозной магией в отличие от имитативной. Предполагается, что при ней действует уже не сходство, а связь в пространстве, соприкосновение, хотя бы даже воображаемое соприкосновение, воспоминание о том, что оно имело место. Но так как сходство и соприкосновение составляют два существенных принципа ассоциативных процессов, то объяснение всего безумства магических предписаний, как оказывается, действительно заключается во власти ассоциации идей. Отсюда ясно, как верна цитированная выше характеристика магии, данная Тайлором; ошибочное выдвигание идеального перед реальным, или, как это почти в тех же словах выразил Фрэзер, люди ошибаются, принимая ряд своих идей за ряд явлений природы, и отсюда воображают, что власть, которая у них имеется или, как им кажется, у них есть над их мыслями, позволяет им чувствовать и проявлять соответствующую власть над вещами.

Сначала покажется странным, что это понятное объяснение магии отвергается некоторыми авторами как неудовлетворительное. Но, подумав как следует, приходится согласиться с возражением, что ассоциативная теория магии объясняет только пути, которыми идет магия, а не действительную ее сущность, и именно не то недоразумение, благодаря которому она заменяет естественные законы психологическими. Ясно, что здесь недостает динамического момента, но в то время как поиски этого момента вводят в заблуждение критиков учения Фрэзера, оказывается, нетрудно дать удовлетворительное объяснение магии, если только развить и углубить его ассоциативную теорию.

Рассмотрим сперва более простой и вместе с тем значительный случай имитативной магии. По Фрэзеру, она может применяться одна сама по себе, между тем как контагиозная магия обыкновенно предполагает уже и имитативную. Мотивы, заставляющие прибегать к магии, – это желание человека. Нам стоит только допустить, что у примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет. Таким образом первоначально подчеркивается только желание.

Относительно ребенка, находящегося при аналогичных психических условиях, но еще неспособного к моторным действиям, в другом месте мы высказали предположение, что он сначала удовлетворяет свои желания действительно галлюцинаторно, воссоздавая удовлетворяющую ситуацию благодаря центрофугальным возбуждениям органов своих чувств. Для взрослого примитивного человека открывается другой путь. С его желанием связан моторный импульс – воля, и ею, которой в будущем предстоит преобразить поверхность земли в целях удовлетворения желания, пользуются для того, чтобы изобразить удовлетворение так, чтобы можно было его пережить как бы посредством моторной галлюцинации. Такое изображение удовлетворенного желания вполне сходно с игрой детей, которая заменяет у них чисто сенсорную технику удовлетворения. Если игра и имитативное изображение достаточны для ребенка и примитивного человека, то это не является признаком скромности в нашем смысле или самоотречения вследствие сознания реальной беспомощности, а вполне понятным следствием переоценки собственного желания, зависящим от последнего, воли и выбранных им путей. Со временем психический акцент переносится от мотивов магических действий на их средства и на самые действия. Быть может, правильнее сказать, что на этих средствах ему делается очевидной переоценка его собственных желаний. Кажется, что именно магическое действие,

благодаря своему сходству с желанием, приводит к его исполнению. На ступени анимистического образа мыслей еще нет возможности объективно доказать истинное положение вещей, но, несомненно, такая возможность появляется на более поздних ступенях, когда еще совершаются все подобные процедуры, но уже становится возможным психический феномен сомнения как выражения склонности к вытеснению. Тогда люди соглашаются с тем, что заклинание духов ни к чему не приводит, если в этом не принимает участия вера, и что чародейственная сила молитвы оказывается бессильной, если она не диктуется набожностью<sup>26</sup>.

Возможность контагиозной магии, основанной на ассоциациях по смежности, показывает нам, что психическая оценка с желания и с воли распространяется на все психические акты, какие имеются в распоряжении воли. Создается общая переоценка душевных процессов, т. е. такое отношение к миру, которое нам при нашем понимании взаимоотношения между реальностью и мышлением должно казаться такой переоценкой. Предметы отступают на задний план в сравнении с представлениями о них; то, что совершается над последними, должно сбыться и с первыми. Отношения, существующие между представлениями, предполагаются также и между предметами. Так как мышлению неизвестны расстояния и оно легко объединяет в один акт сознания пространственно наиболее отдаленное и по времени наиболее различное, то и магический мир телепатически легко одолевает пространственные расстояния и относится как к современному к тому, что когда-то имело связь. Отражение внутреннего мира закрывает в анимистическую эпоху настоящий мир, который, как нам кажется, мы познаем.

Впрочем, подчеркнем еще, что оба принципа ассоциации – сходство и смежность – совпадают в более общем единстве прикосновения. Ассоциации по смежности представляют собой прикосновение в прямом смысле, а ассоциации по сходству – в переносном. Еще непонятое нами тождество психического процесса находит себе выражение в употреблении того же слова для обоих видов связи. Тот же объем понятия прикосновения намечился при анализе табу.

Резюмируя, мы можем сказать: принцип, господствующий в магии, в технике анимистического образа мыслей, состоит во «всемогуществе мыслей».

### 3

Название «всемогущество мыслей» я позаимствовал у высокоинтеллектуального, страдающего навязчивыми представлениями больного, который по выздоровлении, благодаря психоаналитическому лечению, получил возможность доказать свои способности и свой ум. Он избрал это слово для обозначения всех тех странных и жутких процессов, которые мучили его, как и всех страдающих такой же болезнью. Стоило ему подумать о ком-нибудь, как он встречал уже это лицо, как будто бы вызвал его заклинанием; стоило ему внезапно справиться о том, как поживает какой-нибудь знакомый, которого он давно не видал, как ему приходилось услышать, что тот умер, так что у него являлось предположение, что покойник дал о себе знать путем телепатии; стоило ему произнести даже не совсем всерьез проклятие по адресу какого-нибудь постороннего лица, как у него появлялись опасения, что тот вскоре после этого умрет и на него падет ответственность за эту смерть. В течение периода лечения он сам в состоянии был мне рассказать, каким образом возникала в большинстве этих случаев обманчивая видимость и все, что он приносил в действительность, чтобы укрепиться в своих суеверных предположениях<sup>27</sup>. Все больные, страдающие навязчивостью, отличаются такого же рода суеверием, большей частью несмотря на понимание его нелепости.

---

<sup>26</sup> Король в «Гамлете» (III-4): «Мои слова взлетают, мысли же остаются внизу; слова без мыслей никогда не дойдут до неба».

<sup>27</sup> Представляется вероятным, что мы признаем «жуткими» такие впечатления, которые вообще подтверждают всемогущество мыслей и анимистический образ мыслей, в то время как в нашем сознательном суждении мы от этого отошли.

Всемогущество мыслей яснее всего проявляется при неврозе навязчивости; результаты этого примитивного образа мыслей здесь ближе всего сознанию. Но мы не должны видеть в этом исключительный признак именно этого невроза, так как аналитическое исследование открывает то же самое и при других неврозах. При всех их для образования симптома решающим является не реальность переживания, а мышления. Невротики живут в особом мире, в котором, как я это формулировал в другом месте, имеет значение только «невротическая оценка», т. е. на них оказывает действие только то, что составляет предмет интенсивной мысли и аффективного представления, а сходство с внешней реальностью является чем-то второстепенным. Истерик повторяет в своих припадках и фиксирует в симптомах переживания, имевшие место лишь в его фантазии, хотя в конечном счете эти фантазии сводятся к реальным событиям или построены на них. Точно так же и чувство вины невротиков нельзя было бы понять, если бы его стали объяснять реальными преступлениями. Невротика, страдающего навязчивостью, может мучить сознание вины, какое было бы под стать убийце-рецидивисту; при этом он с самого детства может относиться к окружающим его людям с величайшей внимательностью и осторожностью. И тем не менее его чувство вины имеет основание, оно основано на интенсивных и частых желаниях смерти, которые в нем шевелятся по отношению к его близким. Оно имеет основание, поскольку принимаются во внимание бессознательные мысли, а не преднамеренные поступки. Таким образом, всемогущество мыслей, слишком высокая оценка душевных процессов в сравнении с реальностью, как оказывается, имеет неограниченное влияние в аффективной жизни невротика и во всех вытекающих из нее последствиях. Если же подвергнуть его психоаналитическому лечению, вводящему в его сознание бессознательное в нем, то он откажется верить, что мысли свободны, и будет всякий раз опасаться высказывать злостные желания, как будто бы от произнесения их они должны сбыться. Но таким поведением, как и проявляемым в жизни суеверием, он нам показывает, как он близок к дикарю, который старается одними только мыслями изменить внешний мир.

Первичные навязчивые мысли таких невротиков по природе своей, в сущности, носят магический характер. Если они не представляют собой колдовства, то – противодействие колдовству с целью предупредить возможную беду, с которого обыкновенно начинается невроз. Всякий раз, как мне удавалось проникнуть в тайну, оказывалось, что это ожидаемое несчастье имеет своим содержанием смерть. Проблема смерти, по Шопенгауэру, стоит на пороге всякой философии; мы слышали, что образование представлений о душе и веры в демонов, которыми отличается анимизм, объясняется впечатлением, какое производит на человека смерть. Трудно судить, насколько эти первые навязчивые или предохранительные действия развиваются по принципу сходства или контраста, потому что при условиях невроза они обыкновенно благодаря сдвигу искажаются до чего-то крайне малого, до весьма незначительного действия<sup>28</sup>. И защитные формулы навязчивости имеют свою параллель в формулах колдовства, магии. Историю развития навязчивых действий можно, однако, описать, подчеркнув, как они начинаются по возможности дальше от сексуального, как колдовство против злых желаний, и принимают окончательную форму в виде замены запрещенного сексуального действия, которому они, возможно, точно подражают.

Соглашаясь с упомянутой выше историей человеческих мирозерцаний, в которой анимистическая фаза сменяется религиозной, а последняя научной, нам нетрудно будет проследить судьбу «всемогущества мыслей» во всех этих фазах. В анимистической стадии человек сам себе приписывает это могущество, в религиозной он уступил его богам, но не совсем серьезно отказался от него, потому что сохранил за собой возможность управлять богами по своему желанию разнообразными способами воздействия. В научном мирозерцании нет больше места для могущества человека, он сознался в своей слабости и в самоотречении под-

<sup>28</sup> Причина этого сдвига на самое незначительное действие выяснится в последующем изложении.

чинился смерти, как и всем другим естественным потребностям. В доверии к могуществу человеческого духа, считающегося с законами действительности, еще жива некоторая часть примитивной веры в это всемогущество.

При ретроспективном исследовании либидинозных стремлений в отдельном человеке, начиная с их форм в зрелом возрасте до первых их зачатков в детстве, выяснилось весьма важное различие, которое я изложил в «Трех статьях по сексуальной теории» 1905 г. Проявление сексуальных влечений можно наблюдать с самого начала, но сперва они не направляются на внешний объект. Компоненты сексуальности стремятся каждый в отдельности к наслаждению и находят удовлетворение на собственном теле. Эта стадия называется стадией аутоэротизма и сменяется стадией выбора объекта.

При дальнейшем исследовании оказалось целесообразным и даже необходимым между этими двумя стадиями ввести еще третью или, если угодно, разложить первую стадию аутоэротизма на две. В промежуточной стадии, значение которой все больше выясняется, при исследовании отдельные сначала сексуальные влечения уже слились в одно целое и нашли объект; но этот объект не внешний, чуждый индивиду, а собственное, сконструировавшееся к тому времени «я». Принимая во внимание патологические фиксации этого состояния, мы называем эту новую стадию стадией нарцизма. Человек ведет себя так, как будто бы он влюблен в самого себя; влечения «я» и либидинозные желания еще нельзя отделить нашим анализом друг от друга.

Хотя мы еще не имеем возможности дать вполне точную характеристику этой нарцистической стадии, в которой диссоциированные до того сексуальные влечения сливаются в одно целое и сосредоточиваются на «я» как на объекте, мы все же начинаем понимать, что нарцистическая организация уже никогда не исчезает полностью. В известной степени человек остается нарцистичным даже после того, как нашел внешний объект для своего либидо; найденный им объект представляет собой как бы эманацию оставшегося при «я» либидо и возможно обратное возвращение к последнему. Столь замечательное в психологическом отношении состояние влюбленности, нормальный прообраз психозов соответствует высшему состоянию этих эманаций в сравнении с уровнем любви к «я».

Само собой напрашивается стремление привести в связь с нарцизмом найденную нами у примитивных людей и невротиков высокую оценку психических актов, являющуюся, с нашей точки зрения, чрезмерной оценкой, и рассматривать ее как существенную его часть. Мы сказали бы, что у примитивного человека мышление еще в высокой степени сексуализировано, а отсюда и вера во всемогущество мыслей, непоколебимая уверенность в возможность властвовать над миром и непонимание легко устанавливаемых фактов, показывающих человеку его настоящее положение в мире. У невротиков сохранилась, с одной стороны, значительная часть этой примитивной неправильности в их конституции, с другой – благодаря происшедшему у них сексуальному вытеснению вновь произошла сексуализация мыслительных процессов. Психические следствия должны быть в обоих случаях одни и те же, как при первоначальном, так и при регрессивном сосредоточении либидинозной энергии на мышлении: интеллектуальный нарцизм, всемогущество мыслей<sup>29</sup>.

Если мы во всемогуществе мыслей в состоянии видеть доказательство нарцизма у примитивных народов, то можем решиться на смелую попытку провести параллель между ступенями развития человеческого мирозерцания и стадиями либидинозного развития отдельного индивида. Анимистическая фаза соответствует в таком случае нарцизму, религиозная фаза – ступени любви к объекту, характеризуемой привязанностью к родителям, а научная

---

<sup>29</sup> В этом смысле для писателей, высказывавшихся об этом предмете, является аксиомой, что известного рода солипсизм, или берклейанизм (как его называет Салли, открывший его у ребенка), действующий у дикаря, не позволяет ему признать реальность смерти.



фаза составляет полную параллель тому состоянию зрелости индивида, когда он отказался от принципа наслаждения и ищет свой объект во внешнем мире, приспособляясь к реальности<sup>30</sup>.

В одной только области всемогущество мысли сохранилось в нашей культуре, в области искусства. В одном только искусстве еще бывает, что томимый желаниями человек создает нечто похожее на удовлетворение и что эта игра – благодаря художественной иллюзии – будит аффекты, как будто бы она представляла собой нечто реальное. С правом говорят о чарах искусства и сравнивают художника с чародеем, но это сравнение, быть может, имеет большее значение, чем то, которое в него вкладывают. Искусство, несомненно, не началось как *l'art pour l'art*; первоначально оно служило тенденциям, большей частью уже заглушим в настоящее время. Между ними можно допустить и некоторые магические цели<sup>31</sup>.

## 4

Первое мирозерцание, сложившееся у человека, анимистическое, было, следовательно, психологическим. Оно еще не нуждалось в научном обосновании, потому что наука начинается только тогда, когда люди убедились, что не знают мира и потому должны искать путей, чтобы познать его. Анимизм же был для примитивного человека самым естественным и само собой понятным мирозерцанием; он знал, каково положение вещей в мире, а именно что оно таково, как чувствует себя сам человек. Мы, следовательно, готовы к тому, чтобы найти, что примитивный человек перенес во внешний мир структурные условия собственной души<sup>32</sup>, а с другой стороны, можем попытаться перенести на человеческую душу то, чему учит анимизм о природе вещей.

Техника анимизма, магия, яснее всего и без всяких околичностей показывает нам намерения навязать реальным вещам законы душевной жизни, причем духи еще не играют никакой роли, между тем как и сами духи становятся объектами магического воздействия. Магия, составляющая ядро анимизма, первичнее и старше, чем учение о духах. Наш психологический взгляд совпадает здесь с учением Р. Р. Маретта, который предпосылает анимизму преанимистическую стадию, характер которой лучше всего обозначается именем аниматизм (учение о всеобщем одухотворении). Немного можно прибавить о преанимизме из наблюдения, так как еще до сих пор не известен ни один народ, у которого не было бы представления о духах.

В то время как магия сохранила еще полностью всемогущество мысли, анимизм уступил часть этого всемогущества духам и этим проложил путь к образованию религий. Что побудило примитивного человека проявить это первое ограничение? Едва ли сознание неправильности его предпосылок, потому что он сохраняет магическую технику.

Духи и демоны, как указано в другом месте, представляют собой не что иное, как проекцию его чувств<sup>33</sup>, объекты привязанностей своих аффектов он превращает в лиц, населяет ими мир и снова находит вне себя свои внутренние душевные процессы, совершенно так же,

---

<sup>30</sup> Отметим только, что первоначальный нарцизм ребенка имеет решающее значение для понимания развития его характера и исключает допущение у него примитивного чувства малочисленности.

<sup>31</sup> С. Рейнах полагает, что примитивные художники, оставившие нам начерченные или нарисованные изображения животных в пещерах Франции, хотели не «нравиться», а «заклинать». Этим он объясняет то обстоятельство, что эти рисунки находятся в самых темных и недоступных местах пещер и что на них нет изображений страшных хищных зверей. «Современные люди часто говорят, преувеличивая, о магии кисти или резца великого художника и, вообще, о магии искусства. В прямом смысле слова, означающем мистическое воздействие, оказываемое волей одного человека на волю других людей или на предметы, это выражение недопустимо; но мы видели, что когда-то оно было дословно верным, по крайней мере по мнению самих художников» (с. 136).

<sup>32</sup> Познанной благодаря т. н. эндopsихическому восприятию.

<sup>33</sup> Мы допускаем, что в этой ранней нарцистической стадии еще безраздельно соединены проявления психической энергии в отношении объектов из либидинозных и других источников возбуждения.

как остроумный параноик Шребер, который находил отражение своих привязанностей и освобождение своего либидо в судьбах скомбинированных им «божественных лучей».

И здесь, как и в предыдущем случае, мы не станем останавливаться на вопросе о том, откуда вообще берется склонность провоцировать вовне душевные процессы. Но на одно предположение мы можем решиться, а именно что эта склонность усиливается там, где проекция дает преимущества душевного облегчения. Такое преимущество с полной определенностью можно ждать там, где различные стремящиеся к всемогуществу душевные движения вступают друг с другом в конфликт; вполне очевидно, что не все они могут достичь всемогущества. Болезненный процесс паранойи фактически пользуется механизмом проекции, чтобы освободиться от подобных конфликтов, разыгравшихся в душевной жизни. Примером такого состояния является конфликт между двумя членами пары противоположностей, случай амбивалентной направленности, который мы подробно проанализировали при разборе положения оплакивающего смерть любимого родственника. Подобный случай кажется нам особенно подходящим для того, чтобы мотивировать создание образований проекции. Здесь мы опять сталкиваемся с мнениями авторов, которые считают злых духов первородными среди духов вообще и приписывают возникновение представления о душе впечатлению, произведенному смертью на оставшихся в живых. Мы только тем от них отличаемся, что не выдвигаем на первый план интеллектуальной проблемы, которую смерть ставит перед оставшимися в живых, а перемещаем силу, побуждающую к размышлениям, в область конфликта чувств, в который оставшиеся в живых попадают благодаря своему положению.

Первое теоретическое произведение человека – создание духов – возникло из того же источника, что и первые нравственные ограничения, которым он подчиняется, из предписаний табу. Однако одинаковое происхождение не предрешает одновременности возникновения. Если действительно положение оставшегося в живых по отношению к покойнику впервые заставило задуматься примитивного человека, заставило его отказаться от части своего могущества в пользу духов и принести в жертву долю свободного произвола своих поступков, то эти культурные творения являются первым признанием, противящемся человеческому нарцизму. Примитивный человек склонился перед всемогуществом смерти с тем же жестом, с каким он как бы отрицал ее.

Если у нас хватит мужества использовать наши предположения, то мы можем спросить, какая существенная часть нашей психологической структуры находит свое отражение и возрождение в создании путем проекции духов и душ. Трудно оспаривать, что примитивное представление о душе, как ни далеко оно от более поздней нематериальной души, все же в существенном с ней совпадает, т. е. оно рассматривает лицо или вещь как нечто дуалистическое, между обеими составными частями которого распределены известные свойства и изменения целого. Этот первоначальный дуализм – по выражению Спенсера<sup>34</sup> – уже идентичен с дуализмом, который проявляется в обычном для нас разделении на дух и тело и неоспоримое словесное выражение которого мы встречаем, например, в описании человека, находящегося в обморочном или буйном состоянии: он вне себя.

То, что мы таким образом, совсем как примитивный человек, проецируем во внешнюю реальность, не может быть не чем другим, как сознанием такого состояния, при котором предмет воспринимается чувством и сознанием, существует, а наряду с этим сознанием имеется еще другое, в котором предмет находится в латентном состоянии, но может снова появиться. Другими словами, во внешнюю реальность проецируются одновременные существования восприятия и воспоминания, или, говоря более обще, существования бессознательных душевных процессов, наряду с сознательными. Можно было бы сказать, что «дух» лица или предмета

<sup>34</sup> В 1-м томе «Принципов социологии».

сводится в конечном анализе к способности их быть объектом воспоминания или представления тогда, когда они недоступны восприятию.

Разумеется, не приходится ждать, что как примитивное, так и современное представление о душе сохранит ту же демаркационную линию, которую наша современная наука проводит между сознательной и бессознательной душевной деятельностью. Анимистическая душа соединяет в себе и те, и другие свойства. Ее призрачность и подвижность, способность оставлять тело и завладевать временно или навсегда другим телом – все это признаки, несомненно напоминающие сущность сознания. Но способ, каким она скрывается за проявлением личности, напоминает бессознательное. Неизменчивость и неразрушимость мы приписываем теперь не сознательным, а бессознательным процессам, и их мы считаем настоящими носителями душевной деятельности.

Мы уже сказали, что анимизм представляет собой систему мышления, первую цельную теорию мира, и теперь собираемся сделать некоторые заключения из психоаналитического понимания такой системы. Каждодневный опыт подтверждает нам снова главные особенности «системы». Мы ночью видим сны и научились днем толковать эти сны. Сон может, не отрицая своей природы, казаться спутанным и бессвязным, но он может также, напротив, подражать порядку пережитых впечатлений, выводить одно событие из другого и часть своего содержания поставить в связь с другой частью. Это как будто ему удастся в большей или меньшей степени, но почти никогда не настолько хорошо, чтобы не проявилась абсурдность, разрыв в общем сплетении. Если мы подвергнем сновидение толкованию, то узнаем, что непостоянное и неравномерное распределение частей сновидения также довольно безразличны для его понимания. Самым существенным в сновидении являются мысли сновидения, имеющие определенный смысл, связь и порядок, но их порядок совсем другой, чем тот, который мы запомнили в явном содержании сновидения. Связь мыслей сновидения нарушена и может вообще совсем исчезнуть, или ее может заменить новая связь в содержании сновидения. Почти всегда, кроме сгущения элементов сновидения, имело место перераспределение их, более или менее независимое от прежнего их порядка. Короче говоря, то, что сделалось из материала мыслей сновидения благодаря работе последнего и подверглось новому воздействию, так называемой «вторичной переработке», цель которой – так переработать получившиеся в результате работы сновидения бессвязное и непонятное, для того чтобы добиться нового «смысла». Этот новый, достигнутый вторичной переработкой смысл не есть уже смысл мыслей сновидения.

Вторичная переработка продукта работы сновидений представляет собой прекрасный пример сущности и целей системы. Интеллектуальная наша функция требует единства связи во всяком материале восприятия и мышления, которым она овладевает, и не останавливается перед тем, чтобы создать неправильную связь, если вследствие особых обстоятельств не может понять правильной. Такое образование системы известно нам не только в сновидениях, но и в фобиях, навязчивых мыслях и при некоторых формах бреда. При бредовых заболеваниях (паранойя) больше всего бросается в глаза образование системы; она преобладает во всей картине болезни, но ее нельзя не замечать и в других формах невропсихозов. Во всех случаях мы можем тогда доказать, что произошло перераспределение психического материала соответственно новой цели; часто это перераспределение довольно насильственно, если как будто и понятно с точки зрения системы. Лучшим признаком образования системы является то, что любой ее результат допускает по меньшей мере две мотивировки: одну, исходящую из предположений системы, т. е. возможно и бредовую, и другую, скрытую, которую мы должны признать как собственно действительную, реальную.

Для пояснения приведу пример из области невроза: в статье о табу я упомянул об одной больной, навязчивые запреты которой имели громаднейшее сходство с табу маори. Невроз этой женщины направлен на ее мужа; вершину невроза составляет отрицание бессознательного желания смерти мужу. Ее явная систематическая фобия относится, однако, вообще к

упоминанию о смерти, причем муж совершенно исключается и никогда не бывает предметом сознательной озабоченности. Однажды она слышит, как муж дает поручение, чтобы отнесли наточить в определенную лавку его притупившуюся бритву. Побуждаемая странным беспокойством, она сама отправляется в эту лавку и по возвращении из этой рекогносцировки требует от мужа, чтобы он навсегда оставил эту бритву, так как она открыла, что рядом с названной им лавкой находится склад гробов, траурных принадлежностей и т. п. Благодаря упомянутому намерению его бритва вступила в неразрывную связь с ее мыслью о смерти. Такова систематическая мотивировка запретов. Можно быть уверенным, что, и не открыв такого соседства, больная все равно вернулась бы домой с запретом употреблять бритву, потому что для этого было бы вполне достаточно, чтобы она на пути в лавку встретила катафалк, какого-нибудь человека в траурной одежде или женщину с погребальным венком. Сеть условий была достаточно широко раскинута, чтобы во всяком случае поймать добычу; от нее зависело, притянуть эту добычу или нет. С несомненностью можно было установить, что в других случаях она не давала хода условиям запрещения. В таком случае говорили, что сегодня «хороший день». Настоящей причиной запрещения пользоваться бритвой, как мы легко можем угадать, было, разумеется, ее противодействие окрашенному в приятное чувство представлению, что ее муж может перерезать себе горло отточенной бритвой.

Точно таким образом совершенствуется и развивается в деталях задержка в хождении, абазия и агорафобия, если этому симптому удалось развиваться и стать заместителем какого-нибудь бессознательного желания и одновременно отрицанием его. Все бессознательные фантазии и активные воспоминания, еще имеющиеся у больного, бросаются в этот открывшийся выход, чтобы получить симптоматическое выражение, и укладываются в соответствующей перегруппировке в рамках абазии. Все старания понять симптоматическое строение и детали агорафобии, исходя из ее основных предпосылок, были бы напрасны и в сущности нелепы. Вся последовательность и строгость связей только кажущаяся. Более глубокое наблюдение, как и при изучении «фасада» сновидения, может открыть в образовании симптомов поразительную непоследовательность и произвол. Детали такой систематической фобии заимствуют свои реальные мотивы у скрытых детерминантов, которые могут не иметь ничего общего с задержками в хождении, а потому формирование такой фобии у разных лиц может быть так разнообразно и противоречиво.

Возвращаясь к интересующей нас системе анимизма, мы на основании наших взглядов на другие психологические системы приходим к выводу, что объяснение отдельных обычаев или предписаний у примитивных народов «суеверием» не должно быть единственной и настоящей мотивировкой и не освобождает нас от обязанности искать скрытых его мотивов. При господстве анимистической системы не может быть иначе, как только так, чтобы всякое предписание и всякое действие имело систематическое основание, называемое нами теперь «суеверным». «Суеверие», как и «страх», как и «сновидение», представляет собой одно из тех временных понятий, которые не устояли перед напором психоаналитического исследования. Если раскрыть то, что скрывается за этими прикрывающими, как ширмы, действительное знание конструкциями, то окажется, что до сих пор душевная жизнь и культурный уровень дикарей оценивались ниже, чем они того заслуживают.

Если рассматривать вытеснение влечений как мерило достигнутого культурного уровня, то приходится согласиться, что и в период господства анимистической системы имели место успехи и прогресс, которые совершенно несправедливо недооцениваются благодаря их суеверной мотивировке. Когда мы слышим, что воины дикого племени возлагают на себя величайшее целомудрие и чистоту, отправляясь в военный поход, то у нас напрашивается объяснение, что они удаляют свои отбросы, чтобы враг не овладел этой частью их личности с целью повредить им магическим путем, а по поводу их воздержания нам следует допустить аналогичную суеверную мотивировку. Тем не менее факт отказа от удовлетворения влечения несомненен, и он

становится нам понятнее, если мы допустим, что дикий воин возлагает на себя такие ограничения для равновесия, потому что намерен позволить себе в полной мере обычно запрещенное удовлетворение жестоких и враждебных душевных движений. То же относится и к многочисленным случаям сексуальных ограничений на время тяжелых и ответственных работ. Пусть для объяснения этих запретов ссылаются на магические зависимости, все же совершенно очевидным остается основное представление, что благодаря отказу от удовлетворения влечений можно приобрести большую силу и нельзя пренебречь гигиенической причиной запрещения, помимо магической рационализации его. Если мужчины дикого племени отправляются на охоту, рыбную ловлю, на войну, на сбор ценных растений, то оставшиеся дома женщины подчиняются многочисленным угнетающим ограничениям, которым самими дикарями приписывается действующее на расстоянии симпатическое влияние на успех экспедиции. Но немного нужно догадливости, чтобы понять, что этим действующим на расстоянии моментом являются мысли о доме, тоска отсутствующих и что за этой маской скрывается верный психологический взгляд, что мужчины только тогда проявят максимум своего умения, если будут вполне спокойны за участь оставшихся без призора жен. В других случаях так прямо, без всякой магической мотивировки, и заявляется, что супружеская неверность жен повлечет за собой неудачу в ответственной деятельности отсутствующего мужа.

Бесчисленные предписания табу, которым подчиняются женщины дикарей во время менструации, мотивируются суеверным страхом крови и, вероятно, действительно этим объясняются. Но было бы ошибкой не считаться с возможностью, что в данном случае этот страх крови служит здесь также эстетическим и гигиеническим целям, которые должны во всех случаях драпироваться в магическую мотивировку.

Мы не скрываем от себя, что подобными объяснениями мы рискуем вызвать упрек, что приписываем современным дикарям утонченность душевной деятельности, далеко превосходящую вероятность. Однако я думаю, что с психологией этих народов, оставшихся на анимистической ступени, дело может обстоять так же, как с душевной жизнью ребенка, которую мы, взрослые, уже не понимаем и богатство и утонченность которой мы поэтому так недооцениваем.

Я хочу напомнить еще об одной группе не объясненных до сих пор предписаний табу, потому что они допускают хорошо знакомое психоаналитику объяснение. У многих диких народов существует запрещение при различных обстоятельствах иметь в доме острое оружие и режущие инструменты. Фрэзер указывает на суеверие немцев, что нельзя класть нож острой стороной вверх. Бог и ангелы могут им поранить себя. Нельзя ли в этом табу узнать отголосок известных «симптоматических действий», для выполнения которых вследствие бессознательных злостных душевных движений могло бы быть пущено в ход острое оружие?

## Инфантильное возвращение тотема

Нечего опасаться, что психоанализ, впервые открывши постоянное многократное детерминирование психических актов и образований, попытается утверждать, что нечто столь сложное, как религия, имеет только одно происхождение. Если он по необходимости, собственно говоря, из обязательной для него односторонности, настаивает на признании только одного источника этого института, то он так же мало настаивает на исключительности этого источника, как и на том, что ему принадлежит первое место среди совокупности действующих моментов. Только синтез из различных областей исследования может решить, какое относительное значение нужно уделить описываемому здесь механизму в происхождении религии; но такая работа превосходит как средства, так и намерения психоаналитика.

В первой статье этого цикла мы познакомились с понятием тотемизма. Мы слышали, что тотемизм представляет собой систему, заменяющую у некоторых примитивных народов Австралии, Африки и Америки религию и образующую основу социальной организации. Мы знаем, что шотландец Мак-Леннан (1869) привлек всеобщий интерес к феномену тотемизма, к которому до того относились как к курьезу, и высказал предположение, что большое количество обычаев и нравов в различных древних и современных обществах нужно понимать как остатки тотемической эпохи. С тех пор науки в полном объеме признали это значение тотемизма. Как одно из последних мнений по этому вопросу, процитирую следующее место из «Элементов психологии народов» В. Вундта (1912). «Обобщая все это, мы приходим с большой вероятностью к заключению, что некогда тотемическая культура везде составляла предварительную ступень дальнейшего развития и переходную ступень между состоянием примитивного человека и веком героев и богов».

Цели предлагаемой статьи побуждают нас глубже проникнуть в характер тотемизма. По причинам, которые станут ясны ниже, я предпочитаю здесь описание С. Райнаха, который в 1900 г. сделал набросок в 12 параграфах, являющийся как бы катехизисом тотемистической религии:

1. Нельзя ни убивать, ни есть определенных животных, но люди воспитывают отдельных животных этого рода и ухаживают за ними.
2. Случайно погибшее животное оплакивается и хоронится с такими же почестями, как соплеменник.
3. Иногда запрещение употреблять в пищу относится только к определенной части тела животного.
4. Если под давлением необходимости приходится убить животное, которое обыкновенно нужно щадить, то перед ним надо извиниться, постараться ослабить нарушение табу убийства разнообразными искусственными приемами и оправданиями.
5. Если животное приносится в жертву по ритуалу, то его торжественно оплакивают.
6. В некоторых торжественных случаях, в религиозных церемониях, надевают шкуры определенных животных. Там, где тотемизм еще сохранился, это – шкуры животного тотема.
7. Племена или отдельные лица называются именами животных, именно животных тотема.
8. Многие племена пользуются изображением животных как гербом и украшают им свое оружие; мужчины рисуют изображение тотема на своем теле или татуируют его изображение на коже.
9. Если тотем принадлежит к страшным или опасным животным, то предполагается, что оно щадит членов названного его именем племени.

10. Животное тотем охраняет и предупреждает об опасности лиц, принадлежащих к племени.

11. Животное тотем возвещает своим поклонникам будущее и служит им вождем.

12. Члены племени одного тотема часто верят в то, что связаны с животным тотема узами общего происхождения.

Этот катехизис тотемистической религии можно вполне оценить, приняв во внимание, что Райнах внес сюда все признаки и пережитки, из которых можно заключить о существовавшей когда-то тотемистической системе. Особое отношение автора к проблеме проявляется в том, что он зато пренебрег существенными чертами тотемизма. Мы убедимся, что из двух основных положений тотемистического катехизиса он отодвинул один на задний план, а другой пропустил совсем.

Чтобы составить себе ясное представление о характере тотемизма, обратимся к автору, посвятившему теме четырехтомное сочинение, которое соединяет самое полное собрание относящихся сюда наблюдений с самым обстоятельным обсуждением затронутых проблем. Мы останемся обязаны Д. Д. Фрэзеру, автору «Totemism and Exogamy»<sup>35</sup>, за сообщенные им сведения, даже если психоаналитическое исследование приведет к результатам, далеко расходящимся с его результатами<sup>36</sup>.

Тотем, писал Фрэзер в своей первой статье, представляет собой материальный объект, которому дикарь выражает суеверное почтение, потому что думает, что между ним самим и каждым такого рода предметом имеется совершенно особое отношение. Связь между человеком и его тотемом обоюдная, тотем запугивает человека, и человек доказывает свое почтение тотему различным образом, например тем, что не убивает его, если это животное, и не срывает, если это растение. Тотем отличается от фетиша тем, что никогда не состоит из единственной вещи, а всегда из целого рода, обыкновенно какой-нибудь породы животных или растений, реже какого-нибудь класса неодушевленных предметов и еще реже искусственно сделанных вещей.

Можно различать, по крайней мере, три рода тотемов:

– тотем племени, в почитании которого принимает участие целое племя и который передается по наследству от одного поколения к другому;

– половой тотем, которому принадлежат все мужчины или все женщины племени, причем исключаются лица другого пола;

– индивидуальный тотем, присвоенный отдельному лицу и не переходящий на его потомство.

---

<sup>35</sup> 1910.

<sup>36</sup> Может быть, мы поступим правильно, если укажем читателю на трудности, с которыми приходится бороться при установлении фактов в этой области. Прежде всего не одни и те же лица собирают наблюдения и обрабатывают и обсуждают их; собирателями являются путешественники и миссионеры, а обрабатывают этот материал ученые, которые, может быть, никогда и не видели объектов своего исследования. Понять дикарей нелегко. Не все наблюдатели понимают их язык, а нередко должны были прибегать к помощи переводчиков или объясняться с расспрашиваемыми на вспомогательном языке – английском *pidgin*. Дикари мало сообщительны в интимных вопросах своей культуры и откровенны только с такими чужестранцами, которые прожили среди них много лет. По различным мотивам они часто дают ложные или непонятные сообщения. Нельзя забывать, что примитивные народы – не молодые народы, а в сущности такие же древние, как и цивилизованные, и что нет никакого основания полагать, что у них сохранились для нашего сведения первоначальные идеи и институты без всякого развития и искажения. Скорее несомненно, что у примитивных народов произошли глубокие перемены во всех направлениях, так что никогда нельзя решить без колебания, что в их современных состояниях и мнениях сохранилось, подобно окаменелостям, как первоначальное прошлое и что соответствует искажению и изменению его. Отсюда такое множество разногласий между авторами по вопросу о том, что приходится в особенностях примитивной культуры рассматривать как первичное, а что как более позднее, вторичное формирование. Выяснение первичного состояния остается, таким образом, всегда делом конструкции. Нелегко, наконец, проникнуть в образ мыслей примитивных народов. Мы так же не понимаем их, как и детей, и всегда склонны истолковать их поступки и переживания соответственно нашим собственным психическим констелляциям.

Оба последних вида тотема по их значению в сравнении с тотемом племени не приходится принимать во внимание. Если только мы не ошибаемся, то это позднее образование, имеющее мало значения для понимания сущности тотема.

Тотем племени (тотем клана) является предметом обожания группы мужчин и женщин, носящих имя тотема, считающих себя кровными родственниками, потомками общего предка, и крепко связанных по отношению друг к другу общими обязанностями, как и общей верой в своего тотема.

Тотемизм представляет собой как религиозную, так и социальную систему. С религиозной стороны он выражается в отношениях почитания и заповедности между человеком и его тотемом, с социальной стороны – в обязательствах членов клана друг к другу и к другим племенам. В более поздней истории тотемизма эти обе стороны проявляют склонность разделиться; социальная система переживает часто религиозную, и, наоборот, остатки тотемизма остаются в религии таких стран, в которых уже исчезла основанная на тотемизме социальная система. При теперешнем нашем знании происхождения тотемизма мы не можем с уверенностью утверждать, каким образом были первоначально связаны друг с другом обе его стороны. Но в общем весьма вероятно, что обе стороны тотемизма были нераздельны. Другими словами, чем дальше мы идем назад, тем яснее оказывается, что лицо, принадлежащее к племени, считает себя принадлежащим к тому же роду, что и его тотем, и его отношение к тотему не отличается от отношения к товарищу по племени.

В специальном описании тотемизма как религиозной системы Фрэнк подчеркивает, что члены одного племени называют себя племенем своего тотема и обыкновенно также верят, что обязаны ему своим происхождением. Вследствие этой веры они не охотятся на животное-тотем, не убивают и не едят его и запрещают себе сделать из него какое-нибудь другое употребление, если тотем – не животное. Запрещение убивать тотем не есть его единственное табу; иногда запрещается дотрагиваться до него, даже взглянуть на него. Во многих случаях нельзя называть тотем настоящим его именем. Нарушение этих защищающих тотем заповедей табу автоматически наказывается тяжелым заболеванием или смертью<sup>37</sup>.

Экземпляры животного-тотема воспитываются иногда кланом и содержатся в плену<sup>38</sup>. Найденное мертвым животное-тотем оплакивают и хоронят, как товарища по клану. Если случилось убить животное-тотем, то это происходило согласно предписанному ритуалу, состоявшему из извинений и церемониала искупления.

Племя ждет от своего тотема защиты и милости. Если это было опасное животное (хищный зверь, ядовитая змея), то предполагалось, что оно не причинит страдания своему товарищу, и в тех случаях, когда это предположение не оправдывалось, поврежденный изгонялся из племени. Клятвы, полагает Фрэнк, были первоначально судом божьим; много вопросов о подлинности происхождения предоставлялось, таким образом, на решение тотема. Тотем помогает в болезнях, посылает племени знамения и предупреждения. Появление животного-тотема вблизи какого-нибудь дома часто считалось возвещением смерти. Тотем пришел, чтобы забрать своего родственника<sup>39</sup>.

При различных значительных обстоятельствах член клана старается подчеркнуть свое родство с тотемом, придавая себе наружное сходство с ним, надевая на себя шкуру животного-тотема или татуируя на своем теле его изображение и т. п. В торжественных случаях рождения, посвящения в мужчины, похорон это отождествление с тотемом воплощается в действия и слова. Танцы, при которых все члены племени одеваются в шкуры своего тотема и

---

<sup>37</sup> Ср. статью «О табу».

<sup>38</sup> Как и теперь, еще волки в клетке на лестнице в Капитолии в Риме и медведи в клетке в Берне.

<sup>39</sup> Как белая женщина в некоторых аристократических родах.



подражают его движениям, служат разнообразным магическим и религиозным целям. Наконец, бывают церемонии, при которых животное-тотем торжественно убивают<sup>40</sup>.

Социальная сторона тотемизма выражается прежде всего в строго соблюдаемых запрещениях и в многочисленных ограничениях. Члены клана тотема являются братьями и сестрами, обязаны один другому помогать и друг друга защищать. В случае убийства товарища по клану, совершенного чужим, все племя отвечает за кровавое преступление, и клан убитого чувствует себя солидарным в требовании искупления за пролитую кровь. Узы тотема крепче, чем семейные узы; они не совпадают с последними, так как перенесение тотема обыкновенно происходит путем наследования по матери, а первоначально наследование по отцу, может быть, вообще не имело места.

Соответствующие же ограничения табу состоят в запрещении членам того же клана тотема вступать в брак друг с другом и вообще иметь друг с другом половое общение. Это и есть знаменитая и загадочная, связанная с тотемом экзогамия. Мы посвятили ей первую статью этого цикла, и поэтому здесь нам достаточно только указать, что она происходит из повышенного страха перед инцестом, что при групповых браках она вполне понятна, как защита против инцеста, и что она сначала стремится к предупреждению инцеста для младших поколений и только в дальнейшем своем развитии становится препятствием и для старшего поколения<sup>41</sup>. К этому описанию тотемизма у Фрэзера, одному из самых ранних в литературе по этому предмету, я хочу прибавить несколько выборок из одного из последних обобщений. В появившихся в 1912 г. «Элементах психологии народов» Вундт говорит: «Животное-тотем считается предком соответствующей группы. “Тотем” представляет собой, следовательно, с одной стороны, название группы, с другой стороны – имя рода, и в последнем смысле это имя имеет одновременно и мифологическое значение. Все эти употребления понятия сливаются друг с другом, и некоторые из этих значений могут ступаться, так что в некоторых случаях тотемы стали только названием частей племени, между тем как в других случаях на первом плане стоит представление о происхождении или даже значение тотема с точки зрения культа... Понятие тотема оказывается решающим для расчленения племени и его организации. С этими нормами и с утверждением их в вере и в чувстве связано то, что первоначально животное-тотем рассматривалось не только как название для группы членов племени, но что животное очень часто считалось родоначальником соответствующей части племени. С этим связано и то, что эти животные-предки стали предметом культа... Помимо известных церемоний и церемониальных торжеств, этот культ животного выражается первоначально прежде всего в отношении к животному-тотему; не только какое-нибудь избранное животное, но и каждый представитель того же рода становится в известном смысле священным животным, товарищу по тотему запрещается или разрешается только при известных условиях есть мясо животного-тотема. Этому соответствует имеющее большое значение явление противоположного характера, что при известных условиях имеет место своего рода церемониальная еда мяса тотемам...».

---

<sup>40</sup> См. ниже соображения по поводу жертвоприношения.

<sup>41</sup> См. первую статью.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.